
Елена ОСТРОВСКАЯ

С КЕМ ВОЙДЕШЬ ТЫ В ЭДЕМ?

Повесть

Шел второй час истории монгольской литературы. Смотреть в кабинете было категорически некуда. В крохотном пространстве с желтыми стенами мы сидели за узким столом друг против друга, периодически бодеясь краями тетрадных листов. Мои одноклассники обожали литературу и, особенно, ветвистые рассказы о несбывшихся романах нашей Эльмиры Константиновны и монгольских поэтов. Я откровенно и неприкрыто страдала. На пятой минуте ее рассказов мозг отключался, погружая меня в заснеженные воды Невы. В моменты смертельной тоски мне всегда мерещилась заснеженная река в обрамлении набережных, занесенных метелью. Где-то там под толщей снега скрываются ступеньки к воде. А сейчас все — вода, белая вода. В белом воздухе кружат белые пушинки, едва проклевывают белые контуры Исаакия, рисуемые моим воображением. Сначала ухо выхватывает снежный скрип поступи, потом появляются краешек плеча и пуховый платок. В следующий миг это уже фигура на середине реки. Еще мгновение — длинная цепочка следов, утопающих в белом одеяле реки. И вот от человека осталась лишь точка на горизонте под Дворцовым мостом. А снег все падает и падает, заворачивая мир в плотную ткань забвения и сна... Я в который раз задаюсь чередой вопросов: почему он ушел искать Шамбалу зимой? И почему по замерзшей Неве? Почему я всегда думала, что ушел он не сам?

В одно прекрасное зимнее утро, после лекции по старописьменному тибетскому языку, студент-монголист забрал с парты тетрадь и ручку, кинул их в походный рюкзак, с которым изо дня в день посещал университет. Вышел из кабинета кафедры, спустился в гардероб, поменял жестяной номерок на свое худое пальтишко и пуховый платок. Шагнул вместе с гудящей толпой за порог факультета. И больше его никто никогда не видел. Говорят, он приехал откуда-то из глубин сибирской тайги, из места, не нанесенного на карту вселенной. Выдержал огромный конкурс и поступил на восточный факультет, не имея ни одного билета из положенных к такому случаю. А билеты комсомольца или партбилет, а особенно билет рабфаковца, ой как помогали в далекие семидесятые годы! А еще в те годы библиотека работала чуть ли не до полуночи. Говорят, что он сидел там до закрытия, буквально чах над древними текстами, а в общезнание возвращался лишь поспать. И парень-то вроде был хороший, как говорят, а вот только имени его никто не помнит!

Елена Александровна Островская родилась в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге. Окончила восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ. Автор ряда книг о тибетском буддизме и современных буддийских общинах. Публикации: Три Игоря. Третий, воин; Тульский самовар // Крешатик. 2019. № 85. История КПСС: Лена, дай веник! // Артикуляция. Литературно-художественный альманах. 2018. Вып. 2. О рутинизации смерти. Лечить ветрянку стихами // Артикль. 2017. № 37 (5).

И вот сижу я на лекции по монгольской литературе и думаю о нем, исчезнувшем двадцать лет назад в безвременье таинственной страны Шамбалы. В который раз вижу дружную толпу студентов-востфаковцев, выброшенных прочь из здания бешеной энергией большого перерыва. Вон и врассыпную. Мгновенно распались на крохотные группки, языковые, конечно. Монголисты побежали в «Восьмерку», арабисты — туда, где цивилизация, — в академическую столовую, семитологи — в столовую для работников Кунсткамеры, эти знали свой собственный тайный ход. А он? Что он? Пошел в столовую перед Шамбалой подкрепиться? Или, может, остался у входа на пяточке, очищенном дворником от снега, и поболтал с девчонками в шубках?

Нет, в моих грезах он вышел из дверей зеленого здания на Университетской набережной. Легко пересек проезжую часть, преодолел сугроб, прошелестел вдоль набережной к спуску и запросто спрыгнул в глубокий снег Невы. Вот и все. Больше его не видели. И никто, никто его не хватился. Миллионы раз я думала о том, что его родители даже не прислали запрос: «А куда исчез наш сын?» Годы спустя я поняла: для своих родных он умер, когда уехал. Что есть Питер для того, кто живет в самом глубинном месте тайги в окружении многометровых вековых сосен и толстенных елей? Быть может, они верили, что сын обрел свое счастье где-то там, далеко-далеко...

Привычная медитация убаюкивала, так удавалось тихонько дожить до финала лекции по монгольской литературе. Но только не в тот странный день. Сухие пальцы пронзили мое плечо, а слух разрезал старческий фальцетный вопль:

— И, о чем я говорила только что? — потребовала незамедлительного ответа великая монголистка Эльмира Константиновна.

— Вы рассказывали о Шамбале и неоплатонизме... — пробормотала я первое, что пришло в голову.

В толстых стеклах ее очков я увидела собственное отражение и наливающиеся ядом глазки.

— Милочка моя, вопрос о вашей уместности на нашей кафедре давно пора поставить остро! Вы, вероятно, возмнили себя крупным философом современности? Так мы тут филологией занимаемся! Я, монголист по духу и призванию, не чувствую в вас стремления. В вас, милочка, не звучит песня, а без нее далеко не ускачешь. Пойдите и подумайте над своей жизнью. А в четверг пожалуйста с объяснительной запиской на заседание кафедры, — Эльмира нарисовала пальцем знак вопроса в воздухе.

Ребята смотрели на меня с ужасом и сочувствием. Любимый дружок Мишка, пользуясь случаем, сделал презрительную мину и покрутил длинным пальцем у виска. Он обожал эту бабку со сложносочиненной пирамидой на голове. Мишенька аккуратно готовился к ее занятиям и регулярно делал мне выволочки под лозунгом «одумайся, философия сведет тебя с ума».

— Обратимся теперь к последней строфе гениальной поэмы. О чем здесь говорит поэт Батор: «...она достала высохшую грудь и приложила...»? — Эльмира запинаясь, смотрит на меня изумленно. — Милочка, вам туда, закройте дверь тихо, со стороны коридора, — старуха держит паузу, сопровождая мой выход вздохом омерзения.

Изгнанная, я поплелась по длинному коридору тишины и опомнилась лишь на лестнице философского факультета. Народ громко обсуждал грядущий семинар по неоплатонизму. Ожидался молодой ассистент Милов, свободно читающий на латыни и греческом и говорящий немислимые вещи. Ребята собирались его слушать. И я пошла вслед, хотя не видела в этом ровно никакого смысла.

В последние дни февраля я неотступно думала о неоплатониках. Точнее сказать, думала о невозможности их постичь и своей полной покинутости. К кому бы ни обратила я свой вопрос об этих прекрасных мыслителях, ответ неизменно приходил один и тот же: «Брось дурить, это никому и никогда не пригодится». Товарищи по фило-

софскому факультету полагали неоплатоников невразумительным эпизодом курса. Советовали выучить по учебникам. Однокурсники по восточному факультету недоуменно пожимали плечами, полагая, что переводы тибетских текстов для курсовой мало совместимы с потусторонними голосами древних греков.

В тот день семинар был рутинно-тоскливым. Разбирали очередного неоплатоника, в котором плавали категорически все, кроме Милова. Он смотрел в аудиторию из синевы своих огромных глаз и загадочной улыбался. Ребята ждали подсказки, но вместо нее дверь с шумом распахнулась, и к нам ввалился некто, согнутый пополам, с огромной не то авоськой, не то чемоданом. Существо споткнулось, удержалось и присело за первую парту. От нечего делать я стала его разглядывать. Он сидел в плаще, край шарфа, многократно обернутого вокруг шеи, лежал на полу. Длинные космы закрывали лицо, маленькая кисть нервно тербила бороду. И вот в очередную паузу плавания в холодных водах неоплатонизма некто вдруг заговорил:

— П-гостите, вы несете чушь, неимовер'ную чушь! — произнес он задиристо.

На секундочку мне стало не по себе. На восточном факультете такая наглость закончилась бы уже не объяснительной, а выходом из университета навсегда.

Милов оживился, обнажил белый ряд ровных зубов.

— Антон, поправьте меня, я рад вам, — ответил он вполне дружелюбно.

Началось толкание в бока, мол, смотри, сейчас он задаст жару молодому ассистенту. А существо перешло на греческий с некоторыми вкраплениями русских слов. Единственное знакомое там слово было «гнозис», вроде бы «гнозис». Еле дожив до конца пары, я опрометью бросилась за однокурсничками. Так хотелось поскорее узнать, а что это за чуело с навыками изъяснений на греческом языке. Ребята, давась смехом, рассказали, что тощий парень, оказывается, у нас на курсе, но появляется редко. Лекции ему не сильно нужны, он знает много больше преподавателей, которые приветствуют его отсутствие. И, кстати, Антон занимается неоплатониками по первоисточникам. Могла бы, мол, проконсультироваться. Только где и как его найти, не ведомо никому. Искать это страшилище с космами и бородой совсем не хотелось. Наверняка он высокомерный и с лебедями. И к тому же мне было велено думать о своей жизни до четверга. А в четверг заседание кафедры. И лучше об этом и вовсе не думать, а ехать домой и готовиться к завтрашним языковым занятиям.

О грядущей в четверг расправе напомнил конспект по монгольской литературе. Поздно уже, темно, и дома никого. А завтра очередная лекция старухи. Сижу готовлюсь, учу лирический бред. Нервно перелистываю что-то бессвязное. Страница больно разрезает палец. Красное пятно крови мгновенно растеклось по тетрадной клетке, заливая границы текста.

— Елки-палки, мне ведь какую-то объяснительную писать надо! — кричу сама себе.

Серая туча тоски заслоняет все хорошие помыслы. Я застываю за письменным столом в созерцании купчинской высоты против моего окна.

— Ну, и что, что там писать? — спрашиваю сама себя вслух.

Больно так разрежала палец эта литература монгольская! Кровь накапала еще и на гобийских хомячков. Конспект тетради по географии тоже изгажен. Надо как-то кровь остановить! Бегу в ванную, роняя капли крови на небесно-голубой линолеум длинного черного коридора. Холодный край ванны немного успокаивает. Открываю воду, подставляю окровавленный палец. Завораживающее зрелище. Сколько сижу, не скажет никто, да и нет никого в доме. Смотрю долго и безотрывно на волшебное превращение алого в розовое и белое. Палец немеет под ледяной струей воды, я отвлекаюсь.

Ком в диафрагме возвращает меня в мутную реальность. Мне очень холодно. Включаю горячую воду, хочу согреться, забываюсь. В ванной очень жарко. Встаю, думая

посмотреть на себя в зеркало, от пара горячей воды ни черта не видно. Решаю выйти. Тихонько приоткрываю дверь, выхожу, и тут же на меня со всей своей мощью обрушивается осознание неизбежности наступления завтрашнего четверга и необходимости писать объяснительную. Еще сколько-то я стою рядом с ванной комнатой в крошечной темноте.

Внезапно в сознание врывается счастливая мысль: в комнате родителей, под маминым секретером есть пачка белой бумаги! Все тексты в доме писались на белой бумаге! Надо добыть себе лист. Прокрадываюсь туда, включаю настольную лампу и мгновенно нахожу пачку бумаги. Она запечатана. Недолгие колебания, аккуратноенько вскрываю и вытягиваю белоснежный лист. Какой же он красивый! Заслзнявливаю края пачки, будто так и было. Бегу обратно к себе. Сажусь за стол, отодвигаю тетради и словари тибетского и санскрита в сторону. Меня опять завораживает реальность — на деревянном столе цвета вишни красуется белоснежное пространство формата А4. Я опять уплываю:

«Какие жесткие контуры, их можно кисточкой размыть, взяв краску на тон светлее, вишневый оттенок коричневого и немного синего... Сбегать, что ли, за водой и прямо сейчас нарисовать? Так, красочки... э, нет, подожди, ты собиралась что-то ручкой написать. А что написать? Жаль этой белизны, жаль. Неужели я испорчу ее буквами? Нет, конечно, нет, я напишу красивым почерком. Ага, очень красиво напишу,... Хм, нет у меня красивого почерка. А что у меня есть?»

В моей голове звучит голос отца, одна из его самых противных вариаций на эту тему: «...а я скажу, что у тебя есть? Проблема есть, у тебя серьезная проблема! Из ничего, из пшика, ты сама сотворила эту проблему! Вот садись и пиши, объясняй достойным людям, известным ученым, как пришло тебе в голову вести себя столь легкомысленно, столь неуместно?!» Я выпрямляюсь, покорно беру ручку и начинаю думать.

Трудно сказать, сколько же я думала. Очнулась и решила, что напишу так: «Я сидела на занятии Эльмиры Константиновны и слушала лекцию по поэтике современного монгольского стиха...» Подождите, но в нем нет никакой поэтики, одни сплошные шипящие и хрюкающие слогафонемы. М-м-м. Нет, наверно, есть поэтика — поэтика юрты. Вот Эльмира Константиновна нам рассказывает, что у монголов все поэтично: юрта, степь, пустота, синее небо, горы. Воздух очень поэтичен. Она еще говорила, что у них нет любви. Непонятно, если нет любви, то откуда поэтика? Эльмира Константиновна говорит, что все не такое, как у нас. Женщина может иметь разных мужчин. Ее муж ускакал, оставив ее, юную, в юрте... Хм, в поэтической юрте? Нет, в данном случае она подчеркивала, что это уже не про поэтику юрты. Это про поэтику одиночества. Одиночества. Интересно, я так и не поняла, а что в нем поэтичного? Надо конспект глянуть. Так, что тут у нас? Ага, вот, нашла:

«...она, юная монгольская девушка, остается одна. За сотни километров ни единой души, человеческой души. Только юрта ее и отара овец. Так проходит день, другой, третий, годы. Если мимо нее проскачет мужчина и захочет остановиться в ее юрте, она позволит и разделит с ним свое ложе. В кочевой культуре так. И потом будет беременна и родит. Если муж вернется, он не спросит ее ни о чем, все дети свои...»

Боже! Это же тихий ужас какой-то! Как понять такую поэтику? Ай, лучше не читать. Так, не буду писать про поэтику. Попробую по-другому. Напишу так: «Я сидела на паре по современной монгольской литературе и внимательно слушала лекцию. Я сижу всегда спиной к окну рядом с Мишей. На лекции речь шла о...»

Я опять выпадаю, силась припомнить тему лекции. Белоснежный лист становится прозрачным с желтыми вкраплениями. Если сейчас я заплачу, на нем появятся следы слез... Они будут смотреться как проплешины в белизне листа, серо-синие проплешины, я нарисую их охрой, смешанной с синим... Господи, что же там писать-то? Скоро все придут домой!

Я вскакиваю, неожиданно меня осеняет: «...надо позвонить Зубжицкому! Он ведь врач, доктор, мамин друг, он точно знает, что в таких записках положено! Так, телефонная книжица у меня в сумке, ага, так, двушки есть, лист возьму с собой, ага. Так, нет, возьму еще тетрадный лист, черновик...Ой, какой черновик, сейчас все придут, все придут! Так, берем лист, лист в сумку, пенал тут... а что еще-то? А ничего! Ага, вот его телефончик, все, ноги в руки и бежать!» Поспешно выбегаю в коридор, напяливаю толстенное зимнее пальто прямо на халат, всовываю босые ноги в сапоги, накидываю ремень сумки.

Телефонные будки в моем районе находились неблизко. Я бегу, ощущаю, как больно мерзнут голые коленки, слышу звонкий хруст снега, многократно усиленный эхом купчинского пустыря. Вот уже и будка. Сейчас главное, чтобы руки не вмерзли в дверь. Не вмерзают. Снимаю ледяную трубку, подношу к уху, секунду слушаю ее протяжный вой. Стоп, двушку бросить, только бы не сожрал двушку! В запасе еще две монетки. скидываю сумку, впихиваю двушку, ледяным пальцем кручу железный диск. Все быстро и медленно, неимоверно холодно и жарко, меня трясет, и я обливаюсь потом. Длинные гудки, отлично, номер не занят. Не подходит, ужас!

— Аллоу, аллоу, вы будете говорить? — знакомый скрипучий голос требует ответа.

— Юрий Израилевич, это я, я! Мне надо объяснительную записку срочно! Помогите, сейчас все придут! — последние слова еле выдавливаю.

— Леночка, детка, в такое время? У тебя что, опять прогул? Опять анализы вовремя не сдала? Что диктовать, детка? — вопрошает добрый голос Зубжицкого.

Секунду пытаюсь сообразить, о каких анализах речь. Тут же вспомнилось, что двушка не вечная и разговор может быть прерван в любую секунду.

— Юрий Израилевич, нет, выгнала профессор с лекции. Объяснительную завтра на кафедру нести, почему сидела я на лекции, думала на лекции почему? Ну, что-то писать мне надо?!.. Я сидела на... — запинаясь, мое ухо улавливает текст, льющийся из телефонной трубки.

— ...Подождите, голубчик, нет, сначала вложите ему обратно печень целиком, да, отсеченный материал в раствор, в раствор. Деликатнее, деликатнее, чему вас там в анатомичке учат? Поверните вправо, другой рукой придержите ребро, деликатнее, голубчик, деликатнее... — Зубжицкий наставляет ассистента.

Я поняла, у него в лаборатории анализируют печень покойника. Но мне надо писать, и я опять начинаю торопливо:

— Юрий Израильевич, что пишут в таких записках?

А в трубке тем временем разворачивается драма, потоки брани сопровождаются звуком падения. Из обрывков приличных слов я понимаю, что печень так и не попала под ребро. Последнее, что я слышу перед короткими гудками, не оставляет мне ни единого шанса:

— Он не был алкоголиком, этот человек! Мне не важно, б... б... с... е... всех ваших матерей, что там в заключении ваш профессор написал! Руки смотри, посмотри на его кисти! И сердце в размерах, ногти и ступни... Да, не надо их отсекасть! Мать твою, проститутку... — Зубжицкий кричит ассистенту.

Унылые короткие гудки приводят меня в сознание. Окоченевшими пальцами извлекаю из сумки вторую монетку и белый лист. Быстро выдыхаю горячий воздух на пальцы и ворочаю диск.

— Лена, у меня ровно пара минут. Пиши в правом верхнем углу: «Заведующему кафедрой Ивану Ивановичу Иванову от студентки второго курса...» Э, подожди, чего там и где ты там учишься? На монголистике, говоришь, так и пиши: кафедры монголистики, еще и тибетологии, пиши через запятую. Еще и филологии? Ты все решила мне перечислять? Не вязни в деталях, труп застывает! О чем речь? Я поняла: мечтала

на лекции. Нет, это не пиши. Так, пиши, пиши посередине белого листа заглавными буквами, всё слово заглавными буквами — «объяснительная». Молодец, написала, точ-ки не надо. Ниже, да, под этим словом, которое заглавными... Оставьте, голубчик, печен-ь в покое, с ней все предельно понятно — жировое перерождение, фиксируйте, от-носительно паспортного возраста, разрыв во времени... Нет, это я ему, ты другое пиши. Под «объяснительная» пиши: я, свою фамилию, имя и отчество, в период пребывания на лекции, имя преподавателя и название лекции... не знаешь название? Приеха-ли! О чем эта лекция? Каждый ноготь обработайте раствором, выше берите, на пол-миллиметра выше! Не помнишь названия лекции? Лена, соберись, какая тема? Поэтика монгольской строфы, вот, умница, уже лучше! Забудь про обморожение ног! Отре-жем, не про то. Пиши — на лекции по поэтике монгольской строфы, юрты, о чем еще уважаемая профессор вам объясняла? Что! Что? О девственности? Постой, какой дев-ственности? Монгольской женщины? Она другая? К черту девственность! Ее тоже под ребро! Не надо, не тебе, идиот, не девственность под ребро! Изменения там в весе, но-вообразования в печени!..

Я уже некоторое время слушаю короткие гудки. Бросаю в ледяной автомат послед-нюю двушку, с четвертой попытки застревающий диск проворачивает все цифры те-лефонного номера.

— Прочитай быстро что написала! Понял, с... ты кот, а не голубчик! Пиши, пи-ши: осмысляя поэтику монгольской девственницы в юрте, я мыслями была там и ду-мала о... о чем думала? О неоплатонизме? Лена, какой, к ... матери, неоплатонизм, не морочь мне голову! Кто свободно говорит на греческом и латыни? Дистрофик с бо-родой? Ты о чем думала, девочка? Что писать, что писать, это и пиши: «...задумалась о культурных отличиях, потеряла нить. Дальше точка. Прошу уважаемую профессо-ра, да, ее имя и отчество, простить меня великодушно, обязуюсь выучить все монголь-ские стихи наизусть и разобраться в поэтике юрты, строфы и девственности». Не смо-жешь стихи выучить? Это не пиши. Так, подпись и число ставь. Обнимаю, целую ручки старшей Леночке, — он умолкает.

Спешно кладу трубку, всем телом наваливаюсь на железную дверь, выскакиваю и несусь. Лишь в теплой парадной прихожу в себя — в побелевших пальцах зажат лист А4. В следующий момент я уже в доме, прямо в сапогах и пальто проскальзываю к себе. Разогнуть пальцы невозможно, вторая рука тоже обездвижена. Вытряхиваю записку на стол и устремляюсь в душ.

Четверговые лекции прошли мимо меня. Я неотступно думала о белом листе с урод-ливыми каракулями. На второй паре меня осенило: «Ужас, я ни разу не прочла текст!» На третьей паре пыталась понять, попала ли перерожденная печень в записку. Читать объяснительную было смерти подобно: где взять новый белый лист, как переформу-лировать ее суть? Мерзейшим образом мокли ладони и ступни. К концу пятой пары ноги как будто зажали своей жизнью в теплых водах Карибского моря. Звонок изве-стил об окончании занятий. Счастливые одногруппнички покатались в столовую и би-блиотеку. Надо мною нависла фигура Мишки. С высоты своих двух метров он возна-мерился меня приободрить:

— Лена, выпрямись. Ну, говорил я тебе не связываться с философией и философами? Допрыгалась по факультетам? Записку написала? Молодец. Если зарыдаешь, это будет впервые к месту. Не трясись! Так, стой тут. Они уже внутри. Пойду послушаю, что они там думают.

Каланча сгибается в три погибели и подносит свое миниатюрное ушко к замоч-ной скважине. И в эту же секунду дверь резко распаивается, нанося сильнейший удар в Мишино ухо. Он вопит, бухается коленями о паркет и теряет очки. В коридоре пол-лумрак, а за дверью свет. В промежутке света и мрака черный контур Эльмиры.

— Пройдите на кафедру, Лена. А вы, Михаил, с вашим зрением в минус десять, должны быть осмотрительнее. Очки — это ценный оптический прибор! — с этими словами она поднимает Мишкины окуляры и водружает очки ему на нос.

— Ба-бла-дарю, ува-ажаямая Эльмира Константиновна, — промычала каланча на четвереньках и со словами «Иди, иди» впихнула меня в проем между светом и тьмой. У меня ком в горле, ноги заплетаются. Захожу, закрываю черную дверь изнутри кабинета монголистики. Вся кафедра в сборе. Эльмира Константиновна в своем синем костюме с перламутровой брошью сидит справа от заведующего кафедрой. Рядом с ней ученица и последовательница поэтики степей — Дарья Савловна. Ее массивный торс и кубометры складок изящно подчеркивает китайский пуховый свитер. Здесь же, но на некотором отдалении мой любимый Бадма Цыренович. Худенький, в костюме, вежливо и приветливо улыбается, кивает мне головой. Его подпирает ассистент кафедры, занырнувший навечно в жития буддийских наставников тибетского средневековья. Поговаривают, что он пишет музыку для группы «Уши» и поет в клубах андеграунда.

Эльмира Константиновна сдала бразды правления кафедрой всего лишь год назад и все еще курировала нового заведующего. Его вежливость и деликатность она принимала за мягкотелость и некоторое недоумие. Все уже привыкли к особой интонации, с которой она произносила его имя и отчество — Геннадий Афанасьевич. Кафедралы называли его Генаша или Афанасич. А как еще можно было бы обозначить коллегу в рваных джинсах и вытянутом свитере, увлеченного описанием грамматики современного монгольского метаязыком лингвистики? Он был смешлив, добродушен, любим учеными дамами города и, как все гении, доступен для прямого человеческого общения. Кафедрой руководить Генаша не хотел категорически, на пост сей скорбный его привели уговоры Евы Марленовны.

Она сидит слева от главы нашей кафедры, закаятая коллега Эльмиры. Ева тоже монголистка, но обретается она не в поэзии современности, а в старописьменных крючках и множественных порталах прошлого. Ева всегда была утописткой, уверенной, что философы способны спасти мир, построить идеальное государство. Кроме того, она продвигает талантливых ученых и противостоит карьеристам. Все, однако, знают о ее войне с подружкой юности Эльмирой. Об их дружбе слагались легенды со множеством остро сюжетных поворотов, ни никто не мог объяснить, почему они вернулись врагами из очередной совместной поездки в Монголию. Война Роз длилась десятилетиями и привела к сокрушительным потерям для обеих сторон. Трагические подробности этой столетней битвы я узнала много позже, а здесь и сейчас жизнь разворачивалась в своей гомерической конкретике.

— Геннадий Афанасьевич, пришла студентка, мы говорили о ней, — сообщает Эльмира громким театральным шепотом.

— Лена? Вы? Что еще натворила наша любительница долгих писем? — заведующий кафедрой расплывается в широкой улыбке.

Я хотела было улыбнуться в ответ, но гневный взгляд Эльмиры заставил стиснуть зубы, чтобы не зарыдать. Глашатай монгольской поэтики кидает на заведующего вопрошающий взгляд, ее напомаженные губы подсказывают: «Объяснительная записка!» Он поворачивает голову в сторону заговорщицы и произносит, сдерживая ее пыл глазами:

— Лена, вы хотите нам что-то зачитать?

— Не-е-ет! — вылетает из меня непроизвольно.

Все молча сверлят меня глазами, даже пофигист ассистент вынимает беруши из ушей и целит на меня свой подслеповатый глаз.

Дрожащей рукой подаю заведующему белый лист. Он немедленно принимается за чтение. Я смотрю в упор, пытаюсь предугадать реакцию. Его глаза в верхнем правом углу

текста — брови поднялись, уголки губы дрогнули. Глаза спустились к центру листа — брови соединились и выдавили глубокую морщинку, губы скруглились, будто произнося мне «ату!». Дальше его начинает колотить мелкая дрожь, перекатывающая булки вязаного свитера. Он хватается левой рукой за рот, стремясь вогнать в него невидимый кляп. Полное фиаско: роняет лист на стол, закрывает лицо обеими руками, хохочет так, что локти стучат по столу. Объяснительную ловким движением перехватывает дерзновенная толстуха Дарья Савловна. Ее глазки, втрое уменьшенные черным карандашом, мгновенно превращаются в щелки. С воплем «ой!» она запрокидывает голову назад и хохочет в голос. Вот ровно таким лошадиным ржанием сопровождала она оплошности своих студентов на занятиях по «Монголын радиогын курс». Бумажка достается деликатнейшему Бадме Цыреновичу. Он предусмотрительно держится за оправу собственных очков, но это не спасает. Его рот сначала улыбается, потом раскрывается белый ряд зубов. Он отворачивается и смахивает слезы.

Развернувшуюся вакханалию останавливает голос Эльмиры, точнее, тот леденящий душу тон, которым она произносит свое коронное: «Мне кто-то объяснит, что здесь происходит?» К тому моменту объяснительная уже в руках Евы Марленовны. Она смотрит в текст, оборачивается на меня и кивает. Я ни жива ни мертва, слезы горя ручьями льются из глаз. Сквозь пелену слез и гул в ушах я ухватывала лишь смех и всхлипы богов отечественной монголистики.

— Может быть, мне будет позволено ознакомиться с содержанием объяснительной записки студентки? — голос Эльмиры бритвой прорезал энтропию смеха.

Внезапно маленькое помещение погрузилось в звенящую тишину. Кафедралы приняли вертикальные позы, вернули серьезность на лица и устремили взоры в сторону Афанасича. Ева Марленовна вручила ему мой белый лист. Геннадий Афанасьевич наклонился куда-то под стол, извлек оттуда свою сумку, порылся в ней и достал очки. Все ясно — дело принимает трагический оборот. Очки в тонкой черной оправе он водрузил на кончик носа, после чего продолжительно посмотрел на Эльмиру. Она молча ждала, принимая его вызов.

— Эльмира Константиновна, вы действительно желаете знать содержание этого текста? — спросил он почти шепотом.

Она кивнула. Заведующий вытянул руки с белым листом перед собой и с выражением принялся зачитывать:

«Заведующему кафедрой монголистики, тибетологии и филологии, филологии зачеркнуто, Ивану Ивановичу...»

Дарья Савловна громко хрюкнула, закашлялась, поспешно достала платок из кармана юбки и принялась усердно сморкаться.

— Дарья Савловна, прекратите немедленно! Это слишком серьезно! — Эльмира смотрела на свою ученицу глазами каннибала.

Афанасьевич продолжал:

«...Иванову от студентки второго курса монголистики ФИО.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Я, такая-то и такая-то, в период пребывания на лекции по поэтике монгольской строфы, юрты и девственности, осмысляя поэтику монгольской девственницы в юрте, задумалась о культурных отличиях и потеряла нить. Прошу уважаемую профессора Эльмиру Константиновну простить меня великодушно, обязуюсь выучить все монгольские стихи наизусть и разобраться в поэтике юрты, строфы и девственности. Подпись...»

Последние строки он дочитывал почти стеная, утирая поочередно то правый, то левый глаз. К концу декламации кафедру можно было сдавать на просушку. Красные, взмокшие, преподаватели обмякли. В воздухе повис немой вопрос. Ситуацию в очередной раз спасла строгая дама в синем костюме:

— Геннадий Афанасьевич желает знать, чем руководствовалась студентка, предлагая нашему прочтению сей документ? Я правильно вас понимаю, Геннадий Афанасьевич? Мы желаем знать, что происходит в голове студентки кафедры? — почти прокричала Эльмира.

— Лена, что у вас в голове? — пропищал заведующий кафедрой, воспользовавшись кратким промежутком между приступами гомерического хохота.

На тот страшный момент в моей голове пульсировало, что опаздываю я на философский семинар в библиотеке. А к семинару задано тексты неоплатоников сгруппировать по вопросам. Как скоро доберусь я до того факультета, успею ли? Именно тут настиг меня вопрос заведующего.

— Э-э-э-э, м-м-м, неоплатоники в голове... — зачем-то прошептала я.

Все, что произошло дальше, я вспоминала множество раз. Лицо Афанасича мгновенно посерело и вытянулось, глаза стали печальными. В кромешной тишине он медленно сложил мой белый лист пополам и порвал на две части. Снова сложил и снова порвал. Соединил куски и снова порвал. Резко встал из-за стола, открыл крохотную форточку старинного университетского окна и выбросил белые ошметки в темноту февральского вечера. Их мгновенно подхватил, закружил ветер. Еще секунду их можно было видеть в хороводе белых снежинок.

Геннадий Афанасьевич тихонько сел на свой стул, усталым движением руки снял очки, посмотрел на меня добрыми глазами и тихо произнес:

— Лена, я искренне желаю вам освоить печатную машинку. И еще дам вам долгосрочный совет — будьте там, где вы есть. Отправляйтесь в библиотеку к своим неоплатоникам. Вы свободны.

Не делая пауз и перерывов, он обратился к коллегам и стал что-то торопливо рассказывать «по повестке сегодняшнего заседания кафедры». Я, приготовленная к мучительной экзекуции, еще мешкала двигаться, но Бадма Цыренович стал махать мне в сторону двери, будто выметая меня веничком для уборки крошек со скатерти. Уловив наконец посыл, я незамедлительно катапультировалась прочь в открытый космос.

Надо ли объяснять, с какой скоростью я преодолела заснеженный путь по Менделеевской линии, соединяющей Университетскую набережную филологического и восточного факультетов с набережной Макарова? В голове был лишь семинар по неоплатоникам. Меня не покидало ощущение, что я близка к разгадке ребуса. Вбежав на философский, я напала на первого, попавшего мне в дверях. Оказалось всего лишь шесть часов вечера, и все еще в библиотеке. Какое счастье — впереди вечность, библиотека работала допоздна! Сдав пальто, помчалась на второй этаж к историкам в заветную библиотеку. В чудесном читальном зале у меня, как, впрочем, и у многих завсегдатаев, давно завелось собственное местечко. Оно располагалось на причудливом возвышении, о предназначении которого рассуждали все неопиты Библиотеки общественных наук.

В финальной части огромного читального зала находился крохотный подиум, вмещавший старую черную парту с откидным столиком и этажерку с книгами. Взобраться на подиум с разбегу не представлялось возможным. Со всех сторон подиум украшали узкие ступеньки. А по временам юности ведь все с ходу и с ноги, куда влетел или внесло, там и замер, застигнутый безднами философии. Покалеченные носы, руки и стопы отвращали своих хозяев от эстетики горних занятий. Народ предпочитал сидеть в общей массе столов и стульев. Плечом к плечу корпеть над философией, периодически зачитывать друг дружке зацепившие мысли, делить трудные эпизоды, пользуясь единственным экземпляром, или попросту чувствовать тепло совместного пребывания во вне реальности. После месяца моей попытки освоения пространства читалки подиум оказался единственным локусом невидимки. Только там удавалось спрятаться от на-

вязчивых ухажеров, страстно желавших помочь в постижении философских тенет. Подиум располагался у огромного, в человеческий рост окна, заставленного цветочными горшками. Постепенно все привыкли к моим одиночным посиделкам на возвышении. У меня образовалось место вечного возвращения. Но только не в тот вечер.

Запахавшаяся и взмыленная, я вскарабкалась на свой подиум. И в ту же секунду поняла, что за любимой партой есть кто-то еще. Более того, плоскость моей черной парты завалена книгами разных размеров, словарями, большими и маленькими блокнотами. Недолго думая, я сдвигаю все это великолепие влево и раскладываю свое. Осматриваюсь. Стул пустой, никого нет. Выдыхаю с облегчением — вероятно, библиотекари проводят ревизию, временно сложили сюда часть книг и рукописей. Оглядываю зал, знакомые фигуры и лица, привычная убаюкивающая тишина. Девочка-библиотекарь грызет семечки и читает толстый том любовной лирики. Категорически все в порядке. Погружаюсь в текст, плыву по волнам вопросов к семинару, углубляюсь в толщу безмыслия. Очнулась я от нестерпимой боли — нечто тяжелое придавило часть моих длинных волос. В раздражении смотрю в сторону боли. Вижу наклоненный торс непрошеного соседа, ищущего что-то на полу. Он еще и бормочет:

— ...опутала мои книги, везде, везде эти гусалычьи нити, нет, нет, тут не начало, а здесь не конец! — этот голос мне определенно знаком.

Я даже на мгновение забываю о нестерпимой боли, которая меж тем усиливается. Сосед продвигается руками вверх по моим волосам, как по канатам. Он видит лишь те участки волосяных нитей, которые прямо перед его глазами. Так он доходит до моего лица. Я теряю дар речи. Передо мной чучело с космами и бородой и тощими запястьями, нелепо торчащими из коротких узеньких рукавчиков, вероятно, мамино пиджачка. На меня в упор смотрят серо-зеленые прозрачные глаза, внимательно и долго.

— Отпусти волосы, мне больно! — пытаюсь вынуть длинные пряди волос из его пальцев.

Он обхватывает обеими ладонками мои щеки, продолжая свое изучение.

— Хватит! Отпусти! Ты что, дурак?! — кричу на безумца.

Тощее существо выпускает меня на секунду из своих цепких лапок и заливается задорным смехом. Я тоже невольно подхватываю это чудесное дуновение. Мы смотрим друг другу в глаза и хохочем.

— Да, я — ду'гак! А ты — умная, в отличие от всех, с'г азу меня ,гаскусила! — смеется.

Мы хохочем вместе. Внезапно он замолкает, выхватывает прядь моих волос и кладет себе в рот. Мне становится интересно. Я жду.

— Послушай, я начинаю понимать, как это «заблудился в ее волосах»! Тебя, ве'го-ятно, Кла'га зовут? — он так забавно смеется.

Мне нравится его крохотный рот в обрамлении усов и бороды, у него красивые ровные зубы. Но я молчу, слишком диковинный зверь рядом. Его маленькие лапки продолжают обследовать мои волосы.

— И что ты тут хочешь? — он кладет часть моих волос на свое плечо.

— Для начала прекрати сосать и дергать мои волосы, мне больно! — пытаюсь снять свою прядь с его плеча.

Он возвращает ее обратно и громко объявляет:

— Ты меня опутала! Я катего'гически опутан! Твои волосы вкусные, глаза к'гасивые, ты п'гишла! Что дальше? — он улыбается и смотрит в упор.

Я, уже порядком рассерженная, заявляю первое, что приходит на ум:

— Немедленно просвети меня по неоплатонизму!

Станный тип, он будто всю жизнь только и ждал такого вопроса. Он тут же принялся меня просвещать. Счастью моему не было предела. С каждым новым словом этого существа разрозненные пазлы, никак не складывавшиеся в картинку, будто примаг-

ничиваются друг к другу. Моему внутреннему взору предстали долина и река, холмы и горы...

— Молодые люди, библиотека закрывается. Долго еще сидеть тут собрались? — пожилая библиотекарь, давно сменившая юную любительницу семечек, стоит с ключами в руках.

Мой новый диковинный друг, обнимая меня своей длинной рукой, собирает сначала свою, а потом и мою сумку. Я пытаюсь освободиться, но он сжимает мое плечо:

— Я тепе'ть везде и всюду с тобой, не пытайся освободиться или убежать, — улыбается.

В тот день и вечер стартовала история длиною в жизнь. Хотя подожди, Тишка, ты ведь умер. Ты умер, правда?

Я открываю глаза и возвращаюсь обратно. Достаяю из сумки блокнот и начинаю писать:

«...Тишка, я сижу в парке рядом с храмом Ильи Пророка. Я надела свое самое красивое платье. Сижу на деревянной коричневой скамеечке. Тиша, я курю. Ты прежний был бы в ужасе. Ты взрослый, наверное, тоже курил, наверное. Я ничего не знаю о тебе взрослом... Слушай, у меня голова разрывается от боли. Мигрень. Здесь тихо в парке у церкви. Но рядом шумно от магистрали... Слева храм. Очень скоро он примет многих людей, они придут прощаться. Тиша, я отчаянно не хочу прощаться! Тиш, можно я сделаю вид, что ты не умер? Ты ведь не умер, скажи? И еще... ты поймешь... я хочу плакать, потому что мне страшно... потому что пока ты живой, у меня все еще есть возможность вернуться, вернуться туда, туда, где нет времени и правил и не надо притворяться, что все понятно и все бывает...»

Прерываюсь. Хлопки, голоса где-то издали, сзади. Поворачиваюсь туда — в сторону площадки у церкви. А там — люди, твои друзья — в черном, сером. Много мужчин, здороваются, пожимают друг другу руки. У них цветы, обернутые в бумагу. Я не хочу идти туда. Может быть, я как-то останусь здесь на скамеечке? У меня и цветов-то нет. Тишка, ты знаешь, я все эти тягучие, странные дни после звонка твоего друга Лени думала о цветах... Леня сказал, что ты умер и будут похороны. Все эти дни я думала о цветах, слышишь? Ну да, о тех глупых розах... Мои горестные мысли о побеге пронизывает запах роз.

Я отвлекаюсь и обнаруживаю себя с кем-то вдвоем под плащом. Тепло и немного странно, невероятно мерзнет нос. Где я? Ах, верно, с Антоном на Ладоге. А что он мне сказал?

— Аленка, когда ты ум'гешь, я п'гинесу тебе ,гозы, большие кустовые ,гозы, — улыбается.

Антон сидит на земле, опершись левым локтем о колено, правой рукой держит меня за плечо. Мы у Ладожского озера, точнее, на его самом высоком берегу. Весна, где-то снег, везде грязь. Мы сидим прямо на земле, не холодно, радостно.

— Тиша? Ты что-то сказал? — поднимаю лицо и утыкаюсь в его смешную бороду.

Мне щекотно, смеюсь. Он отвечает смехом, разносимым множественным эхом весеннего плотного воздуха.

— Ах, Аленка, п'гослушала? Аленочка, ты иногда воз'гащайся, я хочу гово'гить с тобой о ,гозах, — когда ты ум'гешь, я п'гинесу тебе ,гозы! — опять смеется и теребит свою бороду.

— Идиот ты, Тишка! Почему я вдруг умру? Может, это ты умрешь, а я ничего тебе не принесу! Не хочу это слушать! Не-хо-чу, нет! — я прикрываю уши ладонями.

— Подожди, подожди ты! Тебе пон'гавится эта история. Слушай! Она была удивительная, изумительная к'гасавица. Моему дедушке п'гишлось ее отвоевывать, по-

нимаешь? У него были се'гызные сопе'тники. Он смог. Они поженились. Жили долго и счастливо. Потом бабушка уме'гла. Понимаешь? Она уме'гла. Хо'гонили всей семьей, много людей и цветов. Потом мы все пошли. А кладбище ук'гыто де'гевьями. И я слышал, как папа сказал ст'гого: «Смот'гите, это он...» Вдалеке шел человек в че'гном и де'гжал в ,гуках величественный букет ,гоз. Никто не мог ,газличить че'гт его лица, понимаешь, мы уже далеко ушли... Видели все в че'гном. Я вы'гвался и побежал, я хотел знать, понимаешь, знать! — Антон осекается и замолкает.

Его истории вторгались в наше пространство из ниоткуда. Надо было спросить. И я спрашиваю:

— Тиш, а что знать?

Антон секунду всматривается в меня:

— Знать, кто он. Я не успел. Г'ядом с букетом белых ,гоз деда лежали ,гозы, ог'гомные кустовые ,гозы алого цвета. Позже узнал, мама ,гасказала к'гасивую историю любви. То был сопе'тник деда, пг'оиг'гавший, но неотступивший. П'гедставляешь, он любил ее всю свою жизнь, на ,гасстоянии. И появился только в тот день, когда ее п'гедавали земле, потому что дал ей обещание исчезнуть. Алена, когда ты ум'гешь, я п'гинешу тебе к'гасные ,г озы, — заканчивает опять этой пугающей фразой.

Моему изумлению нет пределов. Я вскакиваю почти в бешенстве и протестую:

— Что ты несешь! Почему я умру? Зачем мне, мертвой, твой дурацкий веник? И почему ты?

Антон сидит и смотрит на меня снизу, в его глазах слезы. Мне пронзительно жаль сказанного, но смерть совсем не рядом. Рядом весна и талый снег, живописная грязь, шумное озеро. Он медленно встает, поднимает скинутый мною плащ, перекидывает его через плечо и, как маленькую, берет меня за руку.

— Давай п'госто пойдём? — он протягивает мне свою теплую ладонь.

— А ты больше не будешь? — смотрю сердито.

Тиша улыбается, качает лохматой головой. Я беру его за руку, и больше нет уже ни колючих роз, ни смерти, ни кладбища. Кругом хлябь, весна, воздух, безбрежная прекрасная жизнь...

— Леее-нааа-леее-нааа! — женский крик втаскивает меня обратно в реальность прощального утра тихого парка.

Оборачиваюсь. Там вдалеке у церкви двое машут мне и зовут. Щурюсь увидеть их. А, это Леня и Кира — твои, Тишка, близкие друзья. Хотя сколько их, этих близких тебе друзей, — сотни?

Сейчас я сделаю эти шаги в невозможное. Встаю, преодолевая сопротивление, плетусь туда, меня вовлекают в толпу. Все входят в церковь. На отпевании многие плачут — и мужчины, и женщины. Я ничего не слышу. Я держусь за пелену забвения. Выходим. В голове проносится мысль о побеге. Но нет, Леня и Кира подхватывают меня с двух сторон. Таким причудливым трио мы влезает в круглый автобус до кладбища. Сажусь, молчу, плохо понимая происходящее. Сильно трясет, я засыпаю.

— Выходите, приехали! — хриплый голос выводит меня из оцепенения.

— Лена, мы приехали. Пойдем, вставай, — это Кира заглядывает в пустой автобус.

Выхожу. Кружится голова, слепит яркое осеннее солнце. Оглядываюсь вокруг — край земли. Кира рядом, глазами показывает на группку женщин и мужчин впереди. Приглашает присоединиться. Я покорно плетусь за ней. Шепотом они обсуждают, как собирали жен и возлюбленных Антона. Мы вливаемся в процессию бывших друзей, однокашников, работодателей, однокурсников и еще бог знает кого. Ноги вязнут в песке. Идем по узкой насыпи меж двух пространств кладбища. Слева все зеленое, там будто река и жизнь. Справа пустошь, покрытая крестами и надмогильными красными звездами. Останавливаемся. Человек в черной безрукавке расставляет нас вокруг гроба.

Кира отпускает мой локоть и подталкивает в спину, мол, вперед, туда, к нему. К кому? Я не тронусь с места, хочу спрятаться, скрыться. Но куда? Мы посреди песочной дороги. Не понимаю, а где же могила? Где яма для Антона? Все молчат. Замечаю человека в подряснике. Он спешно облачается, надевает крест, оглаживает свои одеяния дьякона. Обошел гроб, откинул полотно с лица покойника. Что-то говорит, но не слышно слов. Предложил выступить супруге. Слышу шипение каких-то людей, пристроившихся справа от меня:

— Да, да, это — это она, его одноклассница, я тебе говорила, та еще жучка!

— А с виду приличная, вон плачет, смотри, платком утирается под очками!

— Я тебя умоляю, утирается. Присмотрела себе мужичка-алкашку, женой-то всего полгодика побыла. Поди, на квартирку соблазнила, ясное дело, мамаша в Альцгеймере, брат-алкаш где-то шарахается, и этот наш отставник.

— Тьфу, дрянь какая, че несешь! Подождь, послушаем вдовушку.

Отстраняюсь от них, перехожу на другую сторону толпы. Смотрю на нее, твою последнюю четвертую жену. Да, правда, она стоит в темных очках очень близко к гробу, гладит рукой покрывало. Смотрю туда, где ты лежишь. Слушай, Тишка, ты был бы в шоке от этого мертвого человека в деревянном ящике. Он бледен и желт, лежит совершенно безучастно. Как найти в себе силы все это выстоять?

Я вообще не хочу видеть все эти картинки: открытый гроб и вопрошания дьякона:

— Подходите к гробу, кто хочет сказать последние слова Антону?

А разве он что-то слышит? Может, мы хотим сказать? Кому сказать? Сказать друг другу? А что мы все, живые и полностью сытые, можем сказать друг другу? Может быть, сейчас наконец признаться, как страшно было пару лет назад поддерживать войну Антона против университетских чиновников? Как всем стало легче, когда его уволили? Об этом он просит сказать?

Странный дьякон не понимает, что в интеллигентном обществе принято громко молчать. Тишка, а ты сказал бы, вышел бы к гробу однокурсника и сказал последние слова? Думаю, да! Ты говорил бы громко, театрально, чтобы все могли слышать. Это там, в юности, в наших пропащих девятидесятых годах прошлого века ты говорил тихо и вкрадчиво. В новом тысячелетии ты был взрослым и смелым, много выступал, носил дорогие часы. О, ты умел зажечь сердца и собрать на баррикады. Но этот желтый мертвец не встанет. Да и зачем? Здесь собрались его должники. Им предстоит еще долго жить туда, в будущее, в грядущие две тысячи двадцать пятые, а может, даже и в две тысячи шестидесятые. Жить и помнить, как молчали, когда ты кричал в свободной прессе о развале факультета. Помнить, как страшились руку подавать при встрече, когда стало известно о твоём увольнении. А мертвец полежит, подождет своего часа. Антон, как это на тебя похоже. Вот только зачем ты так далеко зашел?

Слезы предательски текут ручьями во время погребения. У меня нет сил превозмочь свое малодушие и подойти к могиле. Я дальше всех, спряталась за прозрачный воздух и смотрю сквозь пелену на огромные липы и крохотных, малюсеньких человечков, копающих землю. А толпа молчаливых друзей и соратников консолидировалась. Они страдают, плачут и курят. Я тоже курю и не знаю, куда деть свои руки. Руки мешают, ищут опору.

Я не слышала ни единого слова, которые произнесли твои друзья. Потом опускали гроб и бросали землю. Антон, твоя могила там, где липы. Не на пустоши ты. Гигантское дерево над вашей с папой могилой. Мне сказали, что тебе отдали мамино место, ведь она по-прежнему жива. Она жива, но давно никого не помнит и не узнает. Тиша, ты лежишь рядом с отцом, которого хотел убить. Помнишь этот сюжет?

Самый край мая, и мы идем в кино. Антон взбудоражен неведомой мне темой. Длинная очередь за билетами. Во всех кинотеатрах премьера. Помнишь, как там, в прошлом веке, мы спасались кино? Повсюду разруха, нищие по улицам, смрад, деревянные заборы в центре города. А в кинотеатрах премьеры. Мы тогда махнули в «Художественный». Сидим в фойе, люди ходят туда и сюда. На стенах миниатюры набережных Петербурга, несколько хороших литографий.

— Аленка, хватит глазеть! Ты должна меня слушать! — Антон поднимает длинную руку, чтобы положить мне за спину.

Я почти привыкла, хотя мне это совсем не нравится. Мы очень разные: я не терплю вторжений, избегаю прикосновений. Он — теплый и максимально близкий в личном пространстве. Я везде хочу спрятаться и сделаться невидимкой. Он — всегда громкий с ярким «р», очаровательными повторами начальных слогов, раскованный телесно. Вот и теперь я с ужасом замечаю его километровые ноги, вытянутые во всю длину. Проходивший мимо мужчина спотыкается, валится носом в паркет. Антон вещает, не замечая, что уронил уже не первого посетителя кинотеатра. Мужчина встает, смотрит на меня обиженно, крутит у виска, показывает на моего соседа.

— Антон, подбери ноги! — требую строгим голосом.

— С какой стати? Мне так удобно, я высокий, мои ноги длинные, — хохочет, пристально глядя мне в глаза.

Я сержусь. Его радует мой гнев.

— Ты что, специально? — спрашиваю нарочито громко.

— Алена, не конт'голируй меня. Лучше скажи, что ты сейчас читаешь? — отвечает своим любимым вопросом на вопрос.

Я опять сержусь:

— Ты зачем спрашиваешь? Ведь знаешь, что я перевожу Конзэ для издательства, его все время и читаю. Ладно, не только. Еще вокруг него. Тиш, там столько людей, начиная с друга-физика, с которым Конзэ вместе искал Шамбалу. Уму не постижимо! Тиш, они искали Шамбалу в Гималаях! Подумай, в Гималаях, забирались на самые высокие пики. Как только могло в голову прийти... — я не успеваю закончить.

— Алена, ты мыслишь сложно. Твоя ошибка, что так думают все. Люди думают п'гямолинейно. Как гово'гишь — «Шамбала»? Написано, что она высоко в го'гах. И люди думают: «Ага, идем в го'гы!» — он опять смеется.

Я не согласна, я протестую. Мой призрак, студент-монголист, начинает материализоваться:

— Тиш, подожди, а как же он, тот студент с нашей кафедры? Ну, помнишь, я рассказывала тебе? В семидесятых он ушел искать Шамбалу в лес. Отправился по замершей Неве, ну, помнишь, в ту зиму гигантских снегов...

Антон не слышит меня. Откинулся на спинку длинного дивана фойе. Он где-то в своих мыслях. С ним определено что-то не то сегодня. Трогаю его лоб — ледяной.

— Алена, сп'госи меня, что я читал пе'гед нашей вст'гечей. Ай, можешь не сп'гашивать. Я читал «Пете'г буг» Белого, захватывающая штука! Слушай, Белый убил своего отца! Гениальная идея. Почему она мне в голову не п'гишла?

Я в ужасе, особенно после объяснений о прямолинейном мышлении:

— Тиша, ты хочешь убить своего папу? — задаю робко вопрос.

Он сразу откликается:

— Бинго, Аленка! Думаю об этом последние несколько часов. П'гедставляю, как уда'гаю его, как течет его к'говь... Убить отца! Я хочу убить своего отца! — Тишка злорадно хохочет.

В тот вечер мы так и не дождались сеанса. Не могу вспомнить, ушли мы вместе, или я одна ушла, оставив тебя мечтающим об убийстве отца? Как восстановить в памяти нашу историю, Тиш?

Меня опять зовут. Твои друзья зовут в автобус. Я последняя здесь, под вашим семейным деревом. Кому пришлось в голову поставить сюда твой портрет? Ты за стеклом, в рамке с черной лентой. Друзья налили тебе водки в стакан, прикрыли черным хлебushком. Не могу остановить слез от невыносимой мерзости происходящего. Тиш, никаких роз. Все просто ушли...

Мы уезжаем с кладбища. С кладбища везут на поминки. Вокруг чужие люди, я абсолютно никого не знаю. Отворачиваюсь к окну. Мне бы выйти где-то на остановке. Так ведь нет остановок, автобус не рейсовый. Старый, скрипучий ритуальный транспорт подвозит к зданию с вывеской «Банкетный зал». Выходим и карабкаемся по ступенькам советской архитектуры будущего. Серые здания, серые ступени, серые люди. Будущее наступило.

Мы в огромном банкетном зале за длинными столами, соединяющими нас в букву «П». Наверное, в нашем случае она означает «Прощание». Во главе стола гигантская застекленная фотография Антона. Он смеется, живыми веселыми глазами приветствует собравшихся. Портрет без черной рамки, оскорбительно натуральный. Я не сразу вижу его, точнее, вообще не вижу. Кто-то рядом обсуждает портрет.

Все мое обозрение реальности занято Григорием, другом Тишки. Вероятно, Гриша и мой друг, но это спорно. Я знаю Гришу всю жизнь, но лишь издали. Так бывает в нашей интеллигентной среде. Общие компании, в которых, не будучи представленным, можно регулярно встречаться всю юность и молодость, а познакомиться вдруг где-то в кулуарах конференции. И вроде вся-вся жизнь прошла порознь, но ведь в единой среде — в одних и тех же смысловых и витальных пространствах. И как, мы друзья? Кто мы друг другу? Но где взять время это осмыслить, жизнь не оставляет шанса, сталкивая в самые решительные моменты.

Кто-то произносит очередную вычурную речь об Антоне. И опять мимо, о своих мыслях и чувствах — о самом себе в связи со смертью Антона. Кто все эти люди, собравшие и усаженные за столами в форме буквы «П»? Наверное, я многих знала тогда, десятки лет назад, в далекие времена гладких лиц с ярким румянцем, сверкающих глаз, когда философия еще не стала собутыльницей и пьяной развратной сожительницей. Я никого не узнаю. Всматриваюсь в их искореженные временем лица. Они меня тоже не узнают. Те, что поближе, пытаются деликатно узнать: «А кто эта девушка рядом с Гришей?» Завсегдатай всех радостных и печальных событий, молодой доцент философского театральным шепотом объясняет, что не «девушка», озвучивает им мои имя и отчество. Они смотрят, не в силах сфокусировать реальность, и опять спрашивают: «А кто она такая сидит рядом с профессором Григорием Серовым?» Доцент терпеливо все повторяет, но отвлекается. Ему мучительно невтерпеж вторгнуться в наши с Гришей разговоры. Он перегнулся, прислушался, выловил только Гришино «девушка», которым тот часто ко мне адресуется.

— Григорий, вы зачем именуete даму «девушкой»? Называйте ее по имени-отчеству!

На секунду наш разговор замирает. Мы оба уставились на молодого франтоватого доцента.

— Слушай, Гера, не лезь, уйди! Называю девушкой, потому что знаю, что говорю. Любой женщине приятно почувствовать себя молоденькой девушкой! Поди вон туда, поди, милый, выпей там, поговори! — Гриша вежлив, он аристократ духа, он не скажет публично пошлость, не потеряется.

Но доцент не отстает, переключается на меня, пытается перегнуться через стол и приблизиться ко мне:

— Могу вступить за вашу честь!

Я на секунду пугаюсь и немедленно отвечаю:

— Подите, правда, подите, Вам не стоит волноваться за мою честь, правда. Мы сто лет рядом, нам давно и категорически все позволено.

Доцент улыбается с недоверием, ему, конечно, виднее, как нам с Григорием пристало общаться в обществе. А я опять погружаюсь в слушание себя, но слышу только Гришины фразы и думаю молча:

«Гриша, я тебя слышу, я давно взрослая. Если бы ты мог знать, насколько я взрослая и холодно безразличная ко всему. Но только не к тебе, не к тебе, Гриша! Да, Гриш, я в курсе, что это мы — твои современники. Да, я слышу, что ты стоишь в золотом тиснении томами энциклопедий и фолиантов в лучших библиотеках мира».

Гости Антона оживились, поминальный банкет идет своим чередом. Одни обсуждают меню, другие — последние новости университета. Зал огромный, столы застелены белыми скатертями, накрыты как на свадьбу. Я сижу с краю у выхода, потому что хочу сбежать. Ловлю на себе удивленные взгляды. Они не понимают, кто я и зачем тут.

Черeda выступлений. Теперь твой портрет во главе стола. Ему поднесли уже не стаканчик, а фужер. Мои соседи обсуждают, как ты пил по-черному после увольнения. Поселил бомжей, чтобы не в одиночку. Мать, оказывается, давно «не в себе». Интересно, они знают, каково это жить в одной квартире с человеком без памяти?

Как опознать, что сходишь с ума, теряешь свою связь с реальностью, безвозвратно уходишь? Человек не умирает и физически не дряхлеет. Просто теряет себя по капле, по эпизоду изо дня в день. Сначала уходят мелочи: какие-то вещи, перчатки, конспекты, назначенные встречи, имена. Потом незаметно из памяти стираются периоды прошлого и будущего. Память — лучшее из человеческих хрупких достоинств — погибает в числе первых бойцов против натиска обстоятельств. Никто не скажет, что ты «сошел с ума». В нашем кругу такое обозначают элегантно: «старческая деменция», болезнь Альцгеймера, «не в себе». Будто слова эти помогут.

За столом жалеют Антона: бедный, остался без преподавания с матерью-Альцгеймером на руках. А я слушаю сменяющих друг друга философов-ораторов. Смотрю в их рты и уплываю все дальше, прочь от белого корабля застолья-поминок. Туда, в начало моей жизни — замужество и жизнь с бабушкой мужа. Она, я и кошка в крохотной квартирке на краю города.

Муж мой работает в Москве, а я в Питере пишу дипломную работу. Живу у его бабушки в окружении книг по германистике, старинной мебели и бесконечных пыльных торшеров. Иногда звоню родителям мужа, прошу помочь: бабушка теряет память. Каждые четверть часа она стучит в мою дверь и приглашает попить чаю. Раз в час я выхожу. Наш диалог по кругу. Она спрашивает, где Яков, ее внук и мой супруг. Рассказывает, как жила и преподавала в ГДР. Потом спрашивает, где Яков, ее внук и мой супруг... И так дни напролет. А я пытаюсь собрать по кускам средневековый текст — двуязычный перевод для моей дипломной работы. Так проходят недели и месяцы.

В один прекрасный день свекор присылает нам психиатра. Бабушка запретила мне выходить из комнаты. Она встретила доктора, одетая в аккуратный вишневый костюмчик, в лакированные черные туфельки на каблучке. Предложила гостю чашечку кофе со штруделем, испеченным ею по старинному австрийскому рецепту. Он, конечно, соглашается, потому как ехал в унынии в спальный район за деньгами, готовясь к запаху мочи, полоумной старухе с немойгой головой. Здесь и сейчас иная картинка: милая пожилая дама с хорошим маникюром, покрашены губы, одета с иголочки, уютная квартирка, чудесная гостиная, а кофе и венский штрудель — выше всяких похвал! Он просидел целых сорок минут. Все это время она занимала его внимание рассказами о своей последней монографии по немецкой грамматике. Повела, что работает сейчас над лекциями по фонетике языка классической немецкой литературы. Врач улыбается и принимает от меня белоснежный конверт с гонораром за визит. Целует ей руку и уходит.

В письменном заключении для родственников нет диагноза, есть лишь рекомендации свежего воздуха и общения с родными. Да, этот специалист равнодушен к деталям. Зачем ему, психиатру, осмыслять венский штрудель? Ну и что, что по традиции сей изысканный яблочный пирог — лучшее блюдо для будущего жениха, особая характеристика невесты. Она встречала жениха? Они, собственно, даже и не говорили друг с другом. Пожилая дама прочла ему блоки из той части мозга, в которых еще была жива память. Почему он не спросил ее, сколько времени или в каком городе она живет? Когда ела в последний раз? Такие говорящие мелочи. И ушел он на сороковой минуте, а на сорок пятой она позвала бы заново в гостиную выпить чашечку кофе со штруделем. Она заново слово в слово повторила бы свой рассказ. Но нет, в этой лодке безумия было место только для меня.

Кстати, Антон, ты тогда появлялся звонками. Помнишь? Учил меня жить в ответ на мои слезы, что устала бегать по частным урокам. Ты объяснял, что в новом демократическом обществе кто-то должен работать и содержать гениев, порядочных и совестливых людей. Утонченные люди не могут ходить по частным урокам в перерывах между чтением сложных древних текстов на латыни, философу не пристало искать себе пропитание. Они сидят в своих университетских и институтских лабораториях, пьют кипяток и обсуждают политическую повестку дня. А я зачем-то оправдывалась, ведь даже страшные черные макароны и гнилую картошку надо на что-то купить. И я продолжала бегать по урокам, бралась за переводы, работала везде, где можно было обойтись без трудовой книжки. Поначалу мне было очень стыдно, а потом я привыкла, потом мне стало никак. Ты много раз звонил, пытаюсь меня спасти — уговорить не работать. А в последний раз просто повесил трубку. Я тебя разочаровала, Тиша?

Где, где протекает время забвения и когда, когда оно пробивает путь в настоящее? Из вязких мыслей меня достает Гриша, профессор Серов, тычком в предплечье:

— Мне больно, слышишь, мне очень больно! — обращается он ко мне с возмущением.

Он, оказывается, уже выпил стопок десять за упокой Антона. И все это время мне что-то рассказывал. Григорий — гений, историк, звезда. Так странно иметь его в такой опасной близости.

— Тебе слышно, Алена? Они так орут, что я сам себя не слышу. Думаешь, они грустят о Тишке? Нет, поверь, им хорошо. Зачем смотришь туда, нечего туда смотреть. Слушай, я хочу тебе сказать. Я не могу доехать до матери. Я все время занят административной требухой профессора ЮНЕСКО. На дворе второе десятилетие двадцать первого века, а я, Ален, я пишу утром и ночью, ха-ха-ха!

— Гриш, а о чем ты пишешь сейчас? — пытаюсь сбить его с темы хоть на пару минут.

— Лен, я наконец, черт возьми, все-таки напишу о Распутине! А они, представляешь, они смеют мне заявлять, что я спиваюсь?! Что я, как Антон, спиваюсь. Да что они знают! Чепуха! Я могу выпить. Недавно вот он, этот вот слева, он знает, он все знает. Он на такси вез меня домой. Я отказался войти в парадную и громко кричал, что это не моя парадная, — Гриша захлебывается в смехе и локтем загорелой руки толкает соседа слева.

Сосед включается в безумие Гришиного монолога. Красномордый товарищ кивает, поддакивает, иронично подбрасывая подробностей о Гришиной супруге, которая все слышала. Гриша смотрит на него секунду и продолжает свой монолог:

— Ну да, да, Лера все слышала! Она фантастически умная женщина и при этом конченная дура! И тоже об алкоголе и пьянстве! Лена, о каком пьянстве речь? Я слежу за собой, я воспитанный человек. Да, могу выпить, крепко выпить. Но ведь подниму себя утром, встану в пять утра, вычищу обувь, выглажу брюки. Я всегда в глаженном. Ты обращала внимание на университетскую профессию?

Он приближает ко мне свое лицо и смотрит пристально, держит паузу. Я молчу, мне все равно. Он продолжает:

— Они вечно в мятых брюках, позволяют себе являться в общество в мятых брюках, небрежными! А животы? Я утюжу свою одежду, принимаю душ, опрыскиваю себя парфюмом и мчусь в фитнес-клуб! Ты спрашиваешь, что я там делаю? — опять держит паузу, кладет руку рядом с моей.

Представляю Гришу в фитнес-клубе. Дальше мужской спортивной сумки из бутика воображение двигаться не желает. Молчу. Опускаю глаза.

— Ну, душа моя, ты должна понимать, я — отец, взрослый родитель! Я — пример. Мне непозволительно согнуться и отрастить живот. В фитнес-клубе я плаваю в бассейне. Проплываю несколько километров... — Гриша замолкает.

Он смотрит перед собой на белую салфетку поверх белой скатерти. Резко поднимает вверх плечи, ищет глазами бутылку с коньяком. Наливает себе в крохотную рюмочку и молниеносно опрокидывает. Морщится и продолжает:

— Лен, мне больно просыпаться. Тяжело, плохо. Но я себя собираю. Вот мне отвратительно это подчеркивание. Они тут многие выступают с придыханием: из такой-то семьи был Антон, его отец был известным историком, создал журнал... Я что, должен встать и высказаться публично, кто мой отец? Лена, это неприличные люди, плебс! Плебс! Ты вслушайся в их речи! Самодовольные людишки произносят речи об Антоне. А что они знали о нем? Антон был омерзителен последние годы, к нему без бутылки мы не ходили... Леня только с бутылкой... Ну, и я, я тоже с бутылкой, — Гриша стирает слюну салфеткой, что-то сглатывает.

Гриша хочет что-то сказать, но его накрывает рыгота. Он подносит руку ко рту и мучительно морщится. К нам подходит качающийся человек с красным лицом. Улыбается мне игриво и кричит в ухо Грише:

— Гришаня, уединился с девушкой! Друг, познакомь, — просит незнакомец.

Гриша встает, берет подошедшего за локоть и сажает на освободившийся стул рядом с собой. В чертах лица этого человека я едва угадываю что-то знакомое. Силуюсь вспомнить. Понимаю, что это мой однокурсник по философскому — Володя. Но как же он изменился. Лицо избородила пахота страстей, улыбающийся рот не обнаруживает зубов. Он пытается откинуть редкую прядь. Я замечаю распухшие красные пальцы. Знакомиться наново совсем не хочется. Но Гриша меня опережает:

— Володюшка, девушки вон с подносами ходят. А это — дама. Ну, о чем тебе с ней говорить, дружище? Давай селедочки положу. Вот жульенчик, салатик. Ты покушай, покушай. Посиди, отдохни, — поворачивается спиной к Володе и продолжает: — Два месяца назад Леня запретил приходить к Антону с бутылкой. Я, конечно, приходил без бутылки, — Гриша смеется и выпрямляется, — она не нужна была. Антон пил какую-то пакость от сифона, понимаешь? У его матери Альцгеймер. Ты знаешь, как это больно жить рядом с матерью, которая ничего, ничего... — замолкает, смотрит перед собой.

— Я знаю, Гриша, я жи..., — не успеваю сказать.

— Ой, ладно, что ты там знаешь! Слушай, я когда был у него в последний раз, вышла мать: один носок спущен, второй волочится за ней, жуткие волосы, от нее чудовищно пахло... А эта пара, которую Антон там поселил... Что? Что ты спросила? Не слышу, скажи громче!

— Гриш, а жена, он ведь женился весною? — выдавливаю из себя проклятый вопрос.

— Жена? Какая жена? Последняя жена? Она не жила там, у нее отец — лежачий больной! Она хорошая женщина, наверно. Нет, хорошая, нет, не знаю, не хочу об этом. Нет, она хорошая точно. Неважно! Послушай, я пытаюсь сказать тебе! Мне все время больно, я не в университете больше, ты ведь знаешь, да?

Я молчу, не хочу этого рассказа. Только не это, пожалуйста! Но Гриша продолжает, с улыбкой меня наблюдая:

— Молчишь? Правильно молчишь. Ты мне и нравилась тем, что всегда молчала. Женщине пристало молчать. А я давай расскажу. Помнишь прошлый июнь? Жара, все цветет, красота. Они устроили мне судилище, Лен! Представь, Инна Михайловна собрала кафедру и устроила профессору Серову судилище. Стыд-то какой! Мне было только людей жаль. Люди там тонкие, чувствительные. Я все понимаю, всем сейчас семью кормить надо. А главное — предъявить-то ей нечего! Я печатаюсь в лучших журналах мира, Лен, на всех европейских языках! Я езжу с лекциями в Сорбонну. Ну, ты знаешь. Она придумала — сокращение нагрузки и несоответствие курсов. Это мне-то несоответствие. Голосование открытое устроила. Я встал и ушел. Не хотел унижать коллег, свидетельствовать их малодушие. А черт с ним! Оказалось все к лучшему. Я в другом месте теперь, зарплата выше, профессор ЮНЕСКО! Лена, смотри на меня! Тебе не интересно? А вот подожди, покажу что-то. Сейчас, погоди! Где мой пиджак? — Гриша внезапно замолкает.

Он ищет свой пиджак, сброшенный где-то прежде. Его зовут в дальнюю часть зала. Извиняется передо мной, целует руку и просит ждать. Я уже не слышу, угадываю по губам. Оглядываю зал. Народ разбился на группки. Здесь вся сакральная география нашей узкой питерской среды — ректоры и проректоры, директора и банкиры, которых Антон учил греческому и латыни. Я тогда не поняла, Тишка, твоих объяснений, зачем банкиру греческий язык и философия неоплатонизма.

Помнишь, тогда мы встретились под аркой у административного корпуса? Впрочем, нет, не помнишь, ты всегда отказывался это помнить.

А я помню. Начало двухтысячных, меня уволили по недоразумению в ту посткафкианскую эпоху моего университета. Я бегаю по кабинетом главного корпуса, пытаюсь восстановить какие-то бумаги. Мне приходится присутствовать на заседаниях, где меня распекают за легкомысленные занятия наукой и любовь к загранице. Меня обещают восстановить с условием больше не ездить на стажировки. Я везде терплю и обещаю, мне надо кормить свою семью. В один из таких изматывающих забегов я и встречаю тебя, Тиша. Помнишь? Нет, конечно, нет. Ты был вальяжен, курил под зонтом в арке. Окликнул по имени:

— Аленка! Стой! Алена, остановись!

В моей новой жизни никому не ведомо это глупое домашнее имя. Я оборачиваюсь, но не узнаю. Ты располнел. Ты одет с иголочки. На тонком запястье золотые часы. Спрашиваешь обо мне и сразу без пауз повествуешь о своей блестящей защите, о месте доцента на кафедре, об ошеломительном успехе у студентов. Повисает пауза. Я уже не рада тебе, чужому, лощеному, сытому. Но ты продолжаешь и все-таки спрашиваешь обо мне. Не знаю, что ответить. Говорю об увольнении. Тиш, почему эта новость тебя рассмешила? Впрочем, я помню твои слова:

— Аленочка, униве'ситет не для таких, как ты! Б'госай ду'г ю маяться. Ты уволена, начальство видит людей насквозь. Ты — человек случайный для униве'ситета, это ж ясно. Б'гось, не глупи! Нет никакой ошибки. Ты же когда-то учила языки, найди 'габоту с английским. П'гости, мне надо идти, па'га ско'го.

Я еще долго стою под дождем и смотрю тебе вслед. Нет никакого Тишки. Есть Антон — избранный, включенный в сакральную элиту *literati*. С этим надо как-то жить дальше.

— Лена, смотри, вот мое последнее приобретение в антикварном, — приятный Гришин голос возвращает меня в реальность.

Он демонстрирует мне кожаный узкий футляр. Внутри — узкая серебряная оправа красуется на бархатной синей подложке. Да, я могу оценить, это девятнадцатый век. Гриша просит высказать предположение. Называю имя мастера, ведь там характерная чеканка на дужке. Григорий счастлив — я правильно решила его загадку, он выдает мне входной билет на аттракцион безумия:

— Лен, ты — свой человек. Ответь, зачем он на день рождения собирал компанию из трехсот человек? Это ведь невозможно, люди просто не видят друг друга. За-а-чем? Я говорил, говорил Антону: «Ну, собери нас, близких тебе, давай просто посидим, посмотрим друг другу в глаза. Зачем они все?»... Слышала, что в самом начале поминков сказал Гнойро? Он выступал в самом начале, вспомни, он правильно сказал, что «у Антона было мало друзей и толпы товарищей дальнего круга», метко сказал! Кто все эти люди? Кто этот плебс? Где были все эти товарищи, сослуживцы, когда он стал бороться против объединения факультетов? — Гриша повышает голос, оглядывается по сторонам, улыбается.

— Гриш, ты желаешь высказаться публично? Сейчас? — меня раздрает, я хочу сбежать.

— Да, согласен, не будем, не будем, глупо, да! Ясно всем — машина бюрократии его переехала. Слушай, а мне, знаешь, что Антон отвечал на мой вопрос? Улыбался ехидно так и говорил: «Гриша, мне нравится смотреть на них всех сразу, радоваться им». Лен, Антон и сейчас смотрит на нас. Ах, этот беспардонный старик заслоняет нам портрет смеющегося Антона! Нагнись посмотри, Лена, он смеется!

Гриша хватает меня за затылок. Я подчиняюсь, покорно смотрю на портрет. Гриша больно сжимает мне шею:

— Какой дивный портрет, живые веселые глаза! Антон никогда не был грустным. Думаю, он не хотел бы слез, мутных слов сочувствия, сожалений. Смотри туда, левее смотри! Вон его близкий друг сидит в компании, как думаешь, кого? Судя по наколке на руке, ха-ха-ха, Лен! Давай думать, что этот человек из тусовки рок-музыкантов. Они правильно делают, что чокаются. На поминках не чокаются, а они чокаются! Ах-ха-ха-ха-ха! И Антон чокался бы. Смотри, этот толстый старик ест, невдомек ему, что произносят речь! О, слышишь, тоже заметили, что портрет живой и Антон с нами. Толстый старик заслоняет портрет. Ладно, Бог с ним! Лен, я только сейчас понял, понял! Антон здесь! Мы его только опустили в землю, а он здесь веселится и радуется нам, сидит во главе стола и радуется. Это бесстыдство! Он бесстыдный! Я ему прямо говорил все в лицо. Это омерзительное его юродство последних лет. Подсядет и смотрит в упор, а потом гаденько смеется и говорит: «Гриш, а ты ведь никого не любишь! Ты и себя не любишь! И что, что ты великий, и что, что ты историк церкви? Ты ведь никого не любишь, ты не умеешь любить!» Представляешь, такое вот говорил! А я его прощать, видите ли, должен. Отец его умер, мать в Альцгеймере, да, понимаю, тяжело, но по какому праву юродство, кто дал ему право судить? Лен, какое он имел понятие о любви? Ребенка не родил, семью не мог создать, эти бесконечные женщины, пьянки, друзья... А знаешь, я все-таки напишу о Распутине, вот напишу! — Гриша опять ударяет меня по предплечью и заходится в смехе.

Я перехватываю его руку и, прикоснувшись, понимаю, что у меня ледяные пальцы.

— Гриша, я хочу уходить, мне достаточно. Я вызову такси, поедем со мной?

Но он уже отвлекся, вскочил, машет кому-то, бежит туда, где опять разливают белую, нашу русскую горькую.

Вызываю такси, экран телефона показывает «семь минут ожидания». Я опять проваливаюсь в свой диалог с мертвецом:

«Антон, что делать с памятью? Я посижу здесь, у тебя в гостях, еще ровно семь минут и уйду. Я устала. У меня две недели болит голова, болит все время. В моем левом ухе гудит пустота, пустота, в которую ты ушел очень давно. Ушел, понимаешь, ушел не три дня назад, не неделю... Может быть, за эти семь минут я все-таки вспомню ответы на два мучающих меня вопроса: когда же я узнала твое настоящее имя? И когда ты впервые стал меня раздражать? Такие вот два, ты сказал бы, „глупых вопроса“. Вижу твое смеющееся лицо. Тебе нравились разговоры о раздражении и ненависти. Да, Антон, я никогда тебя не любила. И тогда, в юности, не любила. Я люто ненавидела тебя в нашей взрослой безразличной жизни... И все-таки я должна вспомнить».

Меня отвлекает звук сообщения: «Вас ожидает» — экран телефона сообщает о такси. Встаю, утекаю сквозь курящих у входа. «Алена! Алена!» — явственно слышу голос Тишки. Из толпы чужих людей он выкрикивает мое глупое детское имя. Это невозможно, мне показалось, я не стану оборачиваться.

— Алена, немедленно остановись! — Гриша хватает меня за руку.

В тонкой черной сорочке с короткими рукавами он стоит под дождем полуживой. Я с ужасом всматриваюсь в него, потому что в первый момент думаю, что это Тишка. Меня отпускает.

— Вернемся, еще не время уходить, — мягко, но настоятельно Гриша тянет меня обратно сквозь курящих людей.

— Гриша, отсюда придется уйти. Когда-то отсюда надо уйти, — произношу тихо, потому что нет сил.

Он смотрит добрыми глазами. Гриша — красивый, тонкий, смешливый:

— Лен, не говори ерунды. Посмотри — там набережная и мост. Мы, гуляя, пойдем через Охтинский мост. Потом пешком до метро, например, до «Чернышевской».

— Гриш, мне не надо до «Чернышевской», — я пытаюсь забрать свой локоть из Гришкиных пальцев и застрять в дверях.

Не хочу обратно, не могу видеть портрет, не могу туда. Предпринимаю робкую попытку к сопротивлению:

— Гриш, там дождь усиливается, у меня нет зонта. Гриш, я не хочу гулять, у меня болит голова.

Он смотрит и улыбается:

— Нам придется вернуться.

Возвращаемся. Я сижу, не снимая плаща. Теплая женская рука касается моего плеча. На стул рядом приземляется Кира:

— Лена, как ты собираешься отсюда выбираться?

Я разглядываю ее прекрасные карие глаза, овал лица. Она картинно красива. Ее темно-каштановые струящиеся волосы напоминают мне всех виденных прежде персидских красавиц.

— Кирочка, я как-то уеду, знать бы хоть, где я?

Она продолжает:

— Лена, я должна увезти Леню. Он на последнем издыхании. Я вижу с утра, что у него огромное давление. Нас заберет знакомая на машине. Лена, тебе надо выбираться... Отсюда трудно выбраться, я сама не смогу объяснить, где мы, прости, мы...

Я перебиваю, меньше всего я хочу извинений:

— Кир, я взрослая девочка, я давно уже вызвала такси, оно давно меня ждет. Гриша не отпускает, вернул с улицы. Я не знаю, как уйти.

Ее глаза наполняются слезами. Она вдруг вываливает какую-то никчемную правду:

— Лен, представляешь, и так два десятка лет! Мы с Леной их всю дорогу вывозим, а они, гениальные, в жопу пьяные, матерятся, кривляются... Лен, может, ты Григория

прихватишь? Я понимаю, неприятная миссия, но мы, правда, больше не можем. Антон умер, нет никаких сил больше развозить их всех, понимаешь, нет сил больше спасать их всех! — она замолкает и смотрит перед собой.

Я слушаю ее, что-то гаденькое внутри меня заговорило, парирует, тоже желает выступить. Мне отвратительно. Внутри меня мерзкий Тишкин голос:

— Аленочка, ты п'гоигала! Ах-ха-ха-ха, п'г изнайся, ты п'гоигала! Давай отпусти себя, скажи ей гадость! скажи, скажи ей, беззащитной, гадость! Гадость, ах-ха-ха-ха-ха, га-а-до-ость!

Я ищу глазами то место в зале, из которого ты, мерзкий Тишка, звучно выкрикиваешь свои проклятия. Одними губами я шепчу тебе: «Подожди еще каплю, я почти готова, почти...»

Кира опять настойчиво втягивает меня в реальность отъезда:

— Лена, я понимаю, что ты взрослая девочка и в состоянии вызвать такси. Но ведь так не поступают?! Мы вроде бы должны тебя отвезти. Но пойми, машина не наша. Прости, прости, никак туда не поместиться. И оставлять тебя здесь как-то неловко.

Мне липко от ее слов, от всей этой невыносимой двойственности. И ровно в эту секунду я понимаю, что она — мой последний рубеж перед окончательной капитуляцией. Сквозь боль и шум я все-таки слышу свой голос:

— Кира, поезжайте, ты все правильно делаешь. Не надо больше никого спасать, это невозможно, надо перестать это делать. Если Гриша захочет, пусть едет со мной... Он очень взрослый. Кир, мы все уже безнадежно взрослые.

Я слышу каждое свое слово и ужасаюсь, кому, спрашивается, я все это адресую? Этой полной девочке с печальными еврейскими глазами? Я смотрела на нее во время погребения, через пелену слез она одна была мне видна. Кира, мне придется признать, что на этом огромном острове бессердечия ты единственная его пожалела. Ты сказала мне у церкви:

— Лен, мне так жаль Антона, так жаль!

Твой подбородок задрожал, ты плакала. Я отвернулась и отошла. Мне невозможно признать, что я тоже его жалею. Я не выдавлю из себя ни звука, я промолчу. Лучшее вспомню самые яркие моменты ненависти.

— Лена, ты слышишь, мы поедem, ладно? Приезжай к нам в гости! Давай, да, давай обнимемcя?

Мы обнимаемcя, она отходит в сторону к людям. Я смотрю на экран телефона: «Вас ожидает...»

Ой-ой, я совершенно забыла о такси. В голове рождается идея: «Сбежать! Уйти, уехать, лечь в кровать, накрыться одеялом с головой, заснуть, забыть! Тебя нет, нет тебя! Ах-ха-ха-ха-ха! Как же все просто — тебя никогда не было, ты бесповоротное никто в моей жизни! Уходить немедленно, финита ля комедия».

На минуту меня отпустило. Я повернула голову влево — нет боли. Вправо — нет боли. Робкими касаниями я нащупываю внутри себя надежду — эту пошлую, жалкую девку, предлагающую ловкий план бегства. Висок пульсирует, на гигантской скорости прокручивается в голове: «Бегство без финальных объяснений? Господи, конечно! Все гениальное просто! Конечно, сбежать!»

Встаю, быстро оборачиваюсь. Какие-то люди беседуют у портрета. Выбегаю.

Я не вижу такси, зато вижу, как постепенно намокает ткань моего плаща, превращаясь из персиковой в бурую муть сгнивших листьев. Кажется, я оглохла. Я давно оглохла, моя музыка давно под запретом. Господи, почему так тихо? Где такси? Где это проклятое такси? У меня пульсирует кровь в висках, внутри черепной коробки заперта боль. Выхожу на проспект, какие-то гости Тишки стремительно сбегают вниз по ступенькам с криками «Такси! Такси!». Пробегают сквозь меня невидимую. Оглядыва-

ются и устремляются вдоль улицы. Где я? Где? Где табличка с названием этого проклятого проспекта?

— Ты все-таки ушла, — Гриша мягко берет меня под руку.

Нет, ну нет, опять Гриша! Теперь уже с еле скрываемой враждебностью я смотрю ему прямо в глаза. Мне невыносимо видеть его намокающие волосы. Рубаха облепила торс. Гриша снял очки. Он нелепо, беспомощно моргает. Начинаю гадко и задиристо:

— Снял свою антиквариатную оправу? А что так? Намочить боишься?

Гриша жалко улыбается сквозь воду, стекающую ручьями по его лицу:

— Алена, не говори антиквариатную, это неверно по-русски. Антикварные очки, в тонкой серебряной оправе, девятнадцатый век. Дай я тебя провожу, тебе не надо стоять здесь одной!

Как я хочу закричать! Прогнать его, сказать что-то возмутительное! Я уже вижу тебя, Тишка, за его спиной. Ты никогда не был джентльменом. Гриша прав, ты — простолоудин, без воспитания. Ты всегда нагло и по-хозяйски врывается в чужую жизнь. Я тебе назло потерплю сейчас, я оттяну твой сладкий миг победы.

Разрешаю Грише вести меня вверх по ступеням под навес. Там как раз невозможно увидеть ни такси, ни улицы, ни реальности. Он закуривает, и опять машет рукой перед мои лицом, и опять заводит о боли:

— Лена, смотри на меня, ты слышишь? Я пытаюсь весь вечер рассказать, как мне больно. Мне больно! Знаешь, почему я не могу доехать до матери? Знаешь? Тебе не интересно, ты не спросила, я заметил, ты не спросила! А я все равно тебе скажу! Я, представь, не сдаю ее квартиру, она пустая стоит! Даже больше, я приезжаю поливать цветы. А мама в пансионе, я плачу триста рублей в день, три-и-и-ста рублей! У нее деменция, ты представляешь, как мне навещать любимую мать и видеть ее такой?

Я останавливаюсь как вкопанная:

— Ты что несешь, Гриша? Ты сдал мать в приют? Я думала, что ты просто никак не доедешь к ней в гости. Где она, где? Сию секунду отвечай!

Гриша хватается за меня и буквально выталкивает на улицу под дождь. Стаскивает вниз по ступеням за ворот плаща. Он что-то кричит. Я ни слова не разберу. Пытаюсь вырваться, высвободиться из его мокрых рук. Гриша останавливается, резко хватается за локоть и выкручивает мне руку. Мы молча боремся под дождем. Высвобождаюсь, отталкиваю его. Бегу прочь по проспекту. Хочу, как те гости, крикнуть «Такси!». Гриша нагоняет, хватается за плечи, разворачивает:

— Да, послушай же ты! Мама ждет меня в гости! Просто не дома... Я весь вечер пытаюсь тебе сказать! Очень болит, Ле-е-на! Она во-о-от здесь. Туда смотри. Туда! Вон, вон, дом напротив! Поняла теперь! Ты поняла?..

Гриша жалок, мокрая рубашка прилипла к телу, лицо искажено. Плачет, вздрагивая плечами. Мне его не жаль, я в бешенстве. Мы так близко, что я могу ударить его в сердце. Гриша перехватывает мой кулак. Хочу крикнуть ему оскорбление, голоса нет, только хрип. Я кричу про себя:

«Гришенька, что у тебя болит? Старишься? Теряешь форму — это болит? Или универ болит, больно поперли? Чертов ты с... сын! А мне, мне не больно? Мне не больно все это слышать? От тебя, тебя, всегда и без спросу подававшего мне советы? Слышать все это не больно?!!»

Запинаюсь. Холодно, отвратительно мокро. Съеживаюсь. О, как хорошо знакомы мне эти звуки привычного малодушия и страха оказаться пошлячкой. Боязно вот так запросто вклеить тебе оплеуху. Больно, хлестко вклеить. Я смотрю в упор на искаженное Гришино лицо — рот ушел в сторону, застывшая гримаса. Хочу сказать:

«Ты, Гриша, пять лет назад велел выстоять и писать статьи по требованиям! Ты, сволочь, убеждал и мотивировал, что надо пересидеть, перемолчать, пересилить себя,

— Ты гово'г ила, Аленочга, что побеждена и п'госишь п'гощения? А за что тебя п'гощать? Давай пе-'гее-числи. Так легко от меня не отделаешься, ахахаха! Вон посмот'ги туда, на балкон, кого ты там видишь?

Отпускаю руки, покорно поднимаю голову. Слышу свой тихий голос или шепот:

— Тиша, это ведь не по-настоящему? Так не бывает, это просто погрешность мозга? Если все реально, стань, пожалуйста, человеческих размеров.

Где-то щелкает выключатель. Загорается софит. Экран, дребезжа, сворачивается прямо с этим отвратительным, огромным лицом. За экраном сцена. Еще секунда дико-го напряжения, и я выдыхаю:

— Тебя нет, Тишка! Ты опять обвел меня вокруг пальца!

— Не то'гопись, Алена. Я выхожу.

Ко мне прикасаются ледяные пальцы — я сама себя обнимаю:

«Это все не происходит. Наверное, я просто умерла в том такси. У меня, наверное, что-то порвалось в голове. Зачем? Разве сегодня мой день? Господи, зачем это мне?»

Чувствую горячие слезы на своих щеках. Начинаю смеяться, меня сотрясает смех.

— Алена, ты смеешься и плачешь однов'геменно. Так и не стала большой!

Тиша показался. В его руках высокий барный стул. Заходит в круг, освещенный софитом. Сел, поджал ноги, смотрит. Пауза.

— Алена, посмот'ги наве'гх, ты их узнаешь? — его голос звучит мягко, будто примирительно.

Я смотрю — там пара юных сердец. Как будто юноша и девушка в темноте кинотеатра. Его голос командует мне смотреть, он командует отвечать, что я вижу:

— Тиш, там темно! Юноша худощавый. Наверно, высокий и с бородой. Девушка с длинными волосами, толстущка, лиц совсем не вижу, слишком далеко для меня. Смутно вижу одежду, хм, летняя одежда и странная, мы такую носили в девяностых годах... — мне страшно, я не хочу говорить.

— П'годолжай! Ну, что же ты замолчала? Ну, что ты видишь? Я сп'гашиваю тебя: что ты видишь? — голос становится злым.

— Она положила голову к нему на плечо. Он обнимает кресло за ней. Трудно сказать, а вот пара ли они?

— Ты опять взялась за свое! Они па'га, па'га! Не смей мне в'гать, что не узнала! Это мы с тобой! А-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха! Не узнала, смешно! Думала, только я стал желтым т'гупом? Стыдилась, что не нашла сил меня поцеловать? П'готивно, Аленочка, т'гупешник целовать? П'гизнайся?! А ты и п'ги жизни мной б'гезговала, не целовала. Никогда! Что сказать хотела? П'гишла поизмываться? — он замолкает.

Пауза. Я лихорадочно соображаю:

«Он что-то важное сказал. Что? Что? „Поизмываться“. Это проклятое слово пробило брешь в нашей капсуле над бездной. Точно! С него начался мой путь прочь от тебя. Прочь ли? Нет, в это противостояние».

— Алена, зачем ты п'гишла? Я тебя не п'гостил!

— Ты простил, Антон, ты простил! Как иначе? Ты прислал мне письмо из Вирджинии с фотографиями. Я храню их всю жизнь, твой крохотный конвертик жив. Подожди, подожди. Ну как же? В нем фотографии. Ты и брат маленькие — вам пять и шесть лет. Очень похожи, коротко стриженные худенькие мальчишки, сидите на льве. Помнишь? Не можешь не помнить — львы у петербургского дома со львами. Ты множество раз меня туда водил, чтобы запомнила. Вспомни сам! Там ведь надпись на обороте фото: «Слева — Павлика лев, а справа — Тишкин». У этих львов твой отец сделал твоей маме предложение. Боже! Стой, подожди! Точно, я вспомнила: тогда, у твоего льва, я впервые узнала твое детское имя — Тишка! Антон, но мы ведь месяцами обходились без имен... — не успеваю договорить.

— П'гек'гати поток инсинуаций! Ты отказалась от Эдема! Отве'ггала меня и манила. Я п'гислал тебе память, чтобы че'гги выжигали тебя п'ги жизни, чтобы ты го'гела живая, глядя на сгубленную душу мою! А-ха-ха-ха! Ты смешная и жалкая! П'гостил?! Не-е-ет, и не мыслил п'гощать! Жизнь сводила и 'газводила нас. В каждом миге я желал твоей боли, чтобы боль п'гонзала каждую твою клетку! Вспоминай, п'гизнай, что любила и п'гедала! Ты не сдвинешься и не выйдешь, вспоминай!

Я повинуюсь, я силюсь вспомнить. Смотрю в те сгустки времени, что давно пожелтели письмами, фотографиями в конфетных коробках. Они пережили все мои переезды, поглотившие многое, но только не эти старые картонки. Коробочки из-под конфет, забытые письмами и перевязанные красной шелковой лентой. Что там под красивым, почти истлевшим бантом? Господи, в прошлом веке мы писали друг другу письма и хранили их в коробочках из-под конфет и чая.

— Мне плевать на твои ко'гобочки! Ответ неверный — «двойка»! Начни заново. Вспомни наш пе'гвый день! Вспомни без лжи, — мне слышится улыбка в его погасшем голосе.

Что же ты хочешь, Тишка? Что? Хорошо, я вспомню...

Этот странный косматый тип так и шел со мной до метро. Ехал до моей конечной станции. Топал к автобусу от метро. Он рассказывал мне о неоплатонизме, его источниках и текстах. Он колдовал, опутывал меня словами, шаг за шагом вовлекая в свой перевернутый калейдоскоп. Я не заметила дорогу, очнулась, когда позвонила в дверь. Открыла мама.

— В дверь тоже в обнимку пойдете? — спросила она с улыбкой.

Тип засмеялся и ответил:

— Тоже!

Мама с интересом наблюдала, как мы входим. Ей явно все это нравилось. Заглянула в кладовку, достала шлепки и подала долговязому бородатику. Меня всегда поражало, как она нагибается к гостю, ставя тапки прямо к ногам. Моментальное вторжение на чужое пространство. Она выпрямилась и побежала на кухню. Выглянула к нам:

— Чай будете?

Мой незванный обнимальщик внезапно ответил:

— Не откажусь!

Меня царапнул его ответ — необычно и так по-домашнему, будто живет тут целую вечность. Я не очень понимала, а что делать дальше? Постояли в коридоре молча. Он предложил пройти в мою комнату. Я открыла дверь и впустила его. Подвинула пустой стул, а сама села напротив. Молчим. Надеюсь, что он сейчас уйдет наконец. Он и правда встает и выходит. Слышу, как моет руки в другом конце коридора. Потом к маме на кухню заходит. Выскальзываю в коридор, тихонечко крадусь к двери кухни. Прислушиваюсь. Ага, все понятно. Мамочка встретила родственную душу — там сложно о философии, тоска смертная.

Крадусь дальше к ванной и в душ. Долго-долго стою под горячей струей, восстанавливая день по кусочкам в обратном порядке. Дохожу до объяснительной и Эльмиры Константиновны. Решаю помыть свои длинные волосы. Это долго, можно кропотливо подумать. Расчесываю огромные пряди, развешанные по бортику ванны. Всплывают слова Афанасьича:

«Лена, будьте там, где вы есть...»

Знать бы мне в мои восемнадцать, где я есть? Хохочу, какая же я глупая!! Точно! Мне было так страшно, что я не поняла его шутки. Очень ведь смешно! Хохочу, осмысляя:

«Будьте там, где вы есть, где вы есть, там и будьте! Почему только инфинитив, непонятно. По идее — будьте там, где едите, а не есть. Или он в смысле моего бытования? Угу, интересненько! Будьте там, где вы ешьте, ага, ешьте там, где бываете — во как!»

Запутываюсь в своих длинных волосах, отвлекаюсь от сущего. Долго-долго перебираю пряди под струей горячей воды. Непростое это дело — помыть два метра расплетенной косы — все равно что постирать шелковую гардину, которая пришита к твоей голове. Справляюсь, мне привычно расчесывать волосы пять-шесть десятков раз по всей длине. Занятие в высшей степени медитативное. Ближе к финалу в голове звенящая, хрустальная чистота. Выхожу из ванной, обернутая в полотенце. Мама зовет пить чай. Не иду! Босыми, мокрыми ступнями счастливо проскальзываю по линолеуму коридора и с разбегу в кровать. Засыпаю сразу.

Утром за завтраком мама сказала, что март будет холодным. Говорили о какой-то смешной чепухе, а потом вдруг оказалось, что пришло время бежать в университет.

— Как ты смеешь? Что ты несешь? Ты в'гешь, опять в'гешь! Она что, не сп'госила ничего обо мне? Не ве'гю! Ты в'гешь! — Антон сердится и встает со своего высоченного табурета.

— Алена, где твои глаза?! Когда ты научилась в'гать?!

Смотрю сквозь мигрень, сил нет больше даже на отвращение:

— Дай сказать, Антон! Тебе пристало молчать, — мой голос наконец приобрел звучание.

Тишкино «в'гешь!» влетало внезапно, как шаровая молния, и било наповал. Он мог вклеить его однокурснику на семинаре и преподавателю посреди лекции. А потом быстро-быстро, захлебываясь в словах, аргументировать. Каждый раз у меня все сжималось внутри, а доводы утекали в песок. Мне за всю жизнь не влетело, зато теперь, оказывается, я вру. Да, я лукавлю, Тиша!

Мама окликнула меня в дверях:

— Алена! Постой!

Оборачиваюсь, вглядываюсь в ее морщинку между бровями. Мама смотрит, улыбается:

— Я все думала, сказать-нет, мальчик этот лохматый очень серьезно настроен!

— Ха, а мне-то что? Ерунда какая-то! — кричу ей уже от лифта.

Вижу ее щеку и закрывающуюся дверь. Я уже привыкла, что мама всех моих приятелей оценивает на предмет перспективного замужества. Тема нудная и тошнотворно скучная по тем временам. Мои родители были одержимы идеей «хорошего замужества», «партии». Иногда папочка приводил в дом на смотрины глубоких старцев тридцати и даже сорока лет от роду. Дважды на такие смотрины я притаскивала своих прихехе. Старцы смущались и исчезали. Папа сердился. Но вскоре принял тактику внезапного снега — приходишь из универа, а там на кухне старец сидит. В общем, я привыкла.

— В'гешь! Опять в'гешь! — Антон кричит нагло мерзким голосом с барного стула.

Я вскакиваю в бешенстве, роняя попкорн и колу. Боже! Когда и зачем я купила это? Какой фильм желала видеть? Арт-хаусное кино не для всех? Этот фильм точно не для меня! Прочь! Прочь из этого интеллигентского чистилища! Не мое — всю жизнь молчать, а умер, и полилась словесная порнография!

Вскакиваю, делаю шаг и влипаю подметками в карамель.

— А-ха-ха-ха! Обгадила колой «свое самое к'гасивое платье»! А-ха-ха-ха, ты нелепа, А-ле-но-чга!

Мерным тоном он цитирует мое утро:

— «...Тишка, я сижу в па'гке 'гядом с х'гамом Ильи П'го'гока в моем самом к'гасивом платье. Сижу на де'гевянной ко'гичневой скамеечке...» А-ха-ха-ха! Лгунья, пошлая, маленькая лгунья! А теперь ты как муха в карамели. Политая колой муха! Влипла, малышка моя, а-ха-ха-ха! — его мерзкий смех мячиками сыплется на меня с потолка.

Я уворачиваюсь от града мячей, но не могу сдвинуться с места. Господи, точно так, как когда-то с тобой в лесу: я хотела убежать от тебя, скрыться, спрятаться, но стояла в полной растерянности. Нет, нет, сто-о-оп! Какое! Я в бешенстве, я ору:

— Да что ты себе позволяешь! Пьяная, наглая скотина! Я тебя не боюсь! Ты не властен надо мною! И никогда не был! Ты никто, тебя никогда не было!

Хочу бежать. Я силюсь сдвинуться, вырвать ступни из липкой жижи. Отвратительный хруст попкорна. Каблуки проворачиваются влево-вправо, влево-вправо, захватывая колени и бедра движением.

— Ну, милая А-ле-но-чга, как тебе этот черный ,гок-н-'голл? — слышу его гогот, отскакивающий стереозвуком от всех стен.

В зале темно. Нарастающий скрип, скрежет ножниц о стекло — экран опять раскрыл свое полотно. И теперь черный силуэт Антона, его голос из тьмы дублируют огромные буквы, проступающие на белизне экрана:

«Я П-О-З-В-О-Л-И-Л С-Е-Б-Е В-С-Е!!!!»

«Я П-О-З-В-О-Л-И-Л С-Е-Б-Е В-С-Е!!!!»

«Я П-О-З-В-О-Л-И-Л С-Е-Б-Е В-С-Е!!!!»

Звук старой печатной машинки резонирует болью в моей голове. Каждая буква впивается в мозг, охваченный судорогой памяти.

Мы никогда не договаривались о встречах. Я не думала и не вспоминала о Тишке. Можно было выйти с занятий, спуститься по длинной лестнице филфака, по пути зацепиться языками с приятелями и знакомыми, ущипнуть пробегающего мимо приехе и заказать ему билеты в Мариинку. Внизу у зеркал обнаружить Антона, сидящего нога на ногу с носом в книжку. Сколько раз, едва сдерживая смех, я норовила пробежать мимо! В последний миг ты замечал и хватал за полу пальто, плаща, кофты, летнего сарафана.

Месяцы пролетали незаметно. Ты мог пропасть на несколько дней. Я вспоминала о твоём существовании не сразу. Как правило, лишь вернувшись домой. В мое отсутствие домашние впускали тебя, разрешали ждать в моей комнате. И ты ждал, просиживая часами. Засыпал порой за моим столом. У меня была своя маленькая жизнь с ранним утром в обнимку с котом, зубрежкой новых слов из тибетских книжек, булавками, картинками, конфетками, делами, отношениями. Ты входил в любой момент и увлекал, утаскивал, завораживал. Мы все время смеялись, болтали, захаживали в киношки и в книжки. Жизнь, просто жизнь.

Я по-прежнему сидела за чтением на своем местечке в БОНе, но теперь весь курс хихикал:

— Приручила, охмурила, гляньте, он, оказывается, умеет разговаривать! — так оценивали происходившее наши однокурсники.

Ты стал часто появляться на лекциях и замечать других, здороваться. Мне улыбались те, с кем дружила на курсе.

— Молодец! Оживила его!

Меня это не трогало. Я не думала о тебе отдельно...

— Тиш, прости, ты правда как бы немножко не существовал для меня...

— Замолчи! Не о том! Ты не о том! Что было на вто'гой фотографии? Кто? Гово'ги! — на белом экране появляется черная тень тонкой руки и цветная тень виски в широком хрустальном стакане.

Я секунду всматриваюсь в меркнущий свет янтаря виски. Где-то я уже видела это? Роюсь в хаосе памяти. Какая жуткая тоска под диафрагмой, нестерпимо тошнотворно пахнет. Вспомнила! А, точно! Хм, не видела я той цветной тени. Я ее слышала и представляла в телефонном разговоре с тобой.

— Все! Довольно! Воровка! Лгунья! Ты была только потому, что я того желал! Мистический мир, го'гние г'езы — все это не п'го тебя! — он спускается с табурета и движется к краю сцены.

— Не желаешь моего рассказа, Тишка? Ты хочешь все по-своему, да? На разрыв, чтобы кровь, и жилы, и кишки, да?! И чтобы все мы, попавшиеся на твоём пути товарищи и возлюбленные, — в грязном и сладком соусе чувства вины. Ты этого хочешь? — я встаю и опять пытаюсь сдвинуться.

— Да, хочу, потому что вы виноваты, — произносит он над моим ухом.

— Тогда давай я расскажу тебе из нашей взрослой жизни, а? Как ты преследовал меня беременную? Звонил, писал, приходил, поджидал. Будто тысячу лет назад все не закончилось. Ты стер ластиком точку, поставленную мною в юности. Ты вновь был повсюду. Но теперь иначе — несчастливо, липко. Ты мечтал о насилии. Ты писал мне о нем. Присылал свои сны обо мне. Антон, ты привозил свои тексты в приемные покои больниц, где я лежала беременная. Ты звонил с разных номеров и рассказывал о янтарном виски, выпитом с утра, о возделенном сексе со мной. Ты не слышал, когда я просила, умоляла забыть, закрыть, уйти. Ты говорил о любви. О своих руках на моем теле и груди. Ты живописал свое наслаждение. Тебе было непереносимо, что я опять люблю не тебя... — я прерываюсь от его ледяного прикосновения.

Антон берет меня за руку. Я кричу что есть силы:

— Не-е-ет! Господи, не-е-е-ет! Невозможно умереть дважды!

— Замолчи, ты жива. Я любил тебя и хотел, чтобы ты знала об этом. А любовь — это секс, Алена! Тебе было п'гитно читать мои письма, п'гизнайся?! — он гладит мои волосы.

Я даже не пытаюсь смахнуть эти закорженелые пальцы. Невыносимо холодно. Просто успокоиться, просто перетерпеть...

Антон живой мог держать мою руку до посинения пальцев и смотреть пристально в глаза. Главное было не показать ему боли, надо было лишь дотерпеть... О, я хорошо тебя знаю!

— Ты, мертвый, по-прежнему хочешь меня задушить? — я рефлекторно хватаюсь за горло.

— Что на вто'гой фотографии? Что? — он приближает ко мне свое лицо.

— На второй... фотографии — ты... дистрофично худой стоишь в черном подряснике. Твоя талия перехвачена коричневым кожаным ремешком школьных времен. Вроде слева твой отец, справа — не помню кто. Может быть, твой брат? Ты с длинными космами и бородой. Вы стоите на ярко-зеленом лугу, залитом теплым солнечным светом. Хм, почему никто здесь не счастлив? Ты был послушником, студентом духовной семинарии Русской православной церкви за рубежом. Твой отец настаивал на принятии монашества и жизни в далекой тогда Америке...

— В'геешь, опять в'геешь! Сам я хотел этого, сам...

— Да, это фото меня расстраивало. Оно всю жизнь напоминало о невозможном и поломанном в юности. Оно стало черным зеркалом моей взрослой жизни. Думала ли, вспоминала ли? Да, Антон, иногда. Вспоминала лес и свой ужас. Твой Эдем стал моим адом. И всегда, неизменно мой ответ был — нет! Нет моей вины в твоей пожизненной дуэли с отцом. Не вина я твоему безумию. Не причина я твоей веселости. Никогда я тебя не отвергала. Но я очень хотела жить! А в том страшном лесу хотела бы никогда с тобой не бывать...

— Не тг'огай отца! Я любил его, очень любил! Он хотел для меня лучшего, — мне чудятся слезы в его голосе.

Тишкина рука как будто слабеет. Я наконец изворачиваюсь и вытаскиваю свою кисть из ледяного захвата. И теперь уже я иду в наступление:

— Не смей меня! Чего лучшего он хотел для тебя, чего? Объясни мне? Спасти от мира, отправить в монастырь в Америку? Или оставить при себе и для себя? Хорош выбор, хороша дилемма! Ничего своего — этого он для тебя хотел? Он желал тебе

друзей? Может, благословил твой брак? Кстати, Тишка, у тебя было столько жен и любовниц! А где, позволь узнать, твои дети, где? Твои кровные дети? Нету, да? Вот и весь сказ! Вам с папой дети были ни к чему, так? Зачем ведьме дети? Ваша сила — магнетическое противостояние. Пока один живой, у второго есть энергия. Не смог, да, без папы? Не сдюжил? — я осекаюсь.

Антон стоит сзади и дышит мне прямо в затылок. Его ледяные пальцы сжимают мое горло. Мне страшно и тоскливо. Я опять сдаюсь:

— Тиша, ты прав во всем. Давай я просто уйду? Я сейчас открою глаза и выйду? Ты ведь умер, тебя нет.

Тихо и очень холодно. Мои глаза привыкли к темноте зала, внезапно замечаю, что ледяное удущье прекратилось. Рядом никого нет. Смотрю на пустой белый экран и явно ощущаю боль в правой части черепа. Усталость наваливается мгновенно, со всех сторон прессуя мое тело. Я, кажется, прихожу в себя. Холодно. Растираю собственные предплечья. Тру ладони, собирая остатки энергии и тепла. На ум приходит любимый вопрос: «А болит ли голова у тех, кто ушел в мир иной?»

Усиленно всматриваюсь в темноту. Отчетливо различимы ряды кресел, по обе стороны от экрана прозаично светится зеленая надпись «ВЫХОД». Все так просто. Встаю, робко делаю шаг, другой:

«Я уже думаю и слышу себя, значит, скоро проснусь! Забавно, насколько все реалистично. Так, момент, что у нас сейчас? Утро у нас сейчас, утро... Так, открою глаза и увижу свой огромный книжный шкаф. Нет, не открою. Полежу с закрытыми... Холодно... Надо же, какие вещи всплывают в сознании... М-да, жуть все это. Психическая гадость... просто мой собственный страх смерти, а более так и ничего... Эх, Тишка, Тишка. Меньше всего можно было думать, что ты возьмешь и просто умрешь. Надо же, пережить девяностые, слом эпох, миллениум, и сдуться... А еще собирался ко мне на могилу с розовым кустом. М-да, наверно, и это смешно... Бредятина, никто не умер! Все приснилось... Пакость какая-то приснилась... Почему Антон? Умер Антон? Да, нет, нет, конечно... Так, сейчас открою глаза, накину халат и пойду на кухню варить кашу... Какую кашу? Какую кашу, решу там, потом. Момент, мои же все в отъезде... Так, хватит! Открыть глаза, встать, к черту халат! Сразу в душ! Точно! Горячий душ, и все, сколько можно валяться!»

Открываю глаза. Темно. Тихо. Пустой зал кинотеатра. Оглядываюсь. Я заснула в кинотеатре:

«Вот и сходили в кино в гордом одиночестве. С самого начала знала, что это — плохая идея! Плохая! Все уже свалили, а я сижу. Так, надо выйти справа или слева. Так, слева пойду. Ступеньки вниз, ну, сойдем. Зачем они вешают шторы над выходом? Бред, вот бред ведь. Ага, все понятно, ручка от себя — нет, не открывается. Хорошо, давайте на себя. О, открылась...»

Свет сбивает с толку, зажмуриваю глаза и тут же постепенно их открываю. Нет, ну, нет, ну, нет же! Я в лесу. Пытаюсь сообразить, что вообще со мною и где я:

«Сошла с ума, вероятно? Может, просто сплю? Срочно обратно! Вернусь! Мне не сюда! Во сне можно все, во сне нет времени! Вернусь!»

Резко разворачиваюсь, пытаюсь схватить ручку двери, а там лишь деревья. А под ногами — мох, кусты черники с красивыми ягодами, окутанными белым туманом. Иду. Повсюду летний мягкий свет. Натуральный лес, смешанный лес. Впереди точно кто-то есть, отчетливо различимы голоса. Я замираю, чтобы не издавать звуков, сначала самой понять, кто там. Осторожно делаю шаг за широченный ствол дерева. Замираю. Слышу стук собственного сердца сразу в обоих ушах. Перехватило дыхание, мокрые ладони. Надо все-таки исхитриться и посмотреть, а кто там. Они ведь могли меня и не заметить, они на отдалении.

Всматриваюсь. Там пара — он и она. Судя по корзине, явно пришли за грибами. Вопрос только, почему сидят на земле. Сидят? Она сидит, руками обняла колени. Хм, видок еще тот — треники, куртка уродская, резиновые сапоги, платок на голове. Жаль, лица не видно. А он? А он лежит на клетчатом пледе. Разговаривают? Прислушиваюсь. Ничего не разобрать. Подойти ближе надо. Меня опять накрывает:

«Пойду, так они услышат, спугну, а вдруг у них там что-то важное? Все так, конечно, но надо бы дорогу спросить! И что я им скажу?.. О, точно, скажу так: шла по лесу, заблудилась, мол, ребята, в какую сторону идти? Хм, а они спросят, мол, а куда вам идти? А куда мне идти, если я сплю? Или я умерла? Или я еду в такси? Или я сошла с ума? Класс, приехали-приплыли!!! Так, надо собраться с мыслями... Еще раз. Все сначала. Я была на похоронах и поминках. Потом ушла и поехала домой. Села в такси, закрыла глаза и заснула. Или это я свой сон рассказываю? Что я помню, что еще я помню? Так, ничего больше. Значит, надо проснуться... Проснуться не получается. Значит, надо жить в этом пространстве. Пространстве чего? Сна? Безумия? Постсмертия? Еще раз, Лена, еще раз. Закрыть глаза. Закрывает. Открываем... открываем... и видим — дерево, собственную руку, плащ, туфли лаковые, черные, летние. Прекрасно! А эти где? Ой, там же! Она что-то говорит. Ладно, просто пойду, и все».

Иду тихонько, маленькими перебежками от дерева к дереву. Почему-то не могу заставить себя напрямую вломиться в их пространство. Они уже совсем близко. Мысли крутятся на огромной скорости:

«Надо все-таки послушать, что там происходит. Я ведь вроде никуда не спешу. Господи, я иду или стою? Может, я лежу? Интересно, а меня видно? Может, у меня и тела нет?»

Дыхание перехватывает, они совсем близко, или я совсем рядом. Пытаюсь к ним обратиться и внезапно не могу. Голос не идет вовне, мурашки по телу. Он и правда лежит, вытянув длинные худые ноги на белом в серую клетку пледе. Он смотрит в упор на собеседницу, улыбается и говорит:

— Аленка, скажи, а какое твое любимое место в Библии?

Я чувствую, как кипятком наливаются пальцы. Бешенство плавит кровь горячим свинцом и в момент обжигает мне сердце. Я хочу закричать, что вопрос этот — малахольный бред и ложь! А еще в нашей среде эту фразу произносят перед тем, как переступить известную черту...

— Какую че'гту, Алена? Что ты несешь? — Антон стоит с той стороны драмы, за спиной долговязого парня.

Он приветливо машет рукой и улыбается:

— Молчишь? Молчишь, как тогда? И что тепе'гь, что ты тепе'гь скажешь? — произносит беззвучно губами.

Я смотрю растерянно по сторонам, хаотически хватаясь за разные варианты ответов. Но она, нелепо одетая девочка, она все-таки отвечает:

— Тиша, не надо, прошу тебя, не надо! — она беспомощно просит.

Парень вскакивает, хватая то корзину, то куртку, обреченно садится на землю. Смотрит пристально на нее:

— Как же ты могла, Алена? Ты же все 'газ'гушила! Еще вче'га я ответил бы... Бог мой, что же ты наделала?! Меня всю жизнь занимал воп'гос: с кем войду я в Эдем? Еще вче'га, если бы меня сп'госили, с кем войдешь ты в Эде... — он осекается, замолкает.

Она медленно встает, делает беспомощные пассы руками:

— ...Посмотри, посмотри на небо! Пойдем, прошу тебя, Тиша, пойдем скорее, сейчас начнется жуткий дождь! Тиш, все черное кругом! Тиш!

И правда капля за каплей начинает шуметь листва, еще одно предупреждение стихий, и разразится чудовищный ливень.

— Алена, ты что, не слышишь? Ты все испо'гтила, как ты могла? — тонкими пальцами он смахивает льющиеся из глаз слезы, стирает стекающие с волос струи воды.

— Я хотел п'гожить жизнь с тобой, я хотел войти с тобой...

Но она не слышит, и никто ничего не слышит. За толщей дождя я больше не вижу их, но отчетливо различаю лицо Антона. Мы по разные стороны этой поляны, между нами непроницаемая поверхность воды. Я силюсь вспомнить, что было дальше в том прошлом, где меня не было. Что, что же там случилось? Как узнать мне теперь, ведь меня там никогда не было?

— Сп'гяталась? От жизни, от судьбы сп'гяталась? Молчишь? Ты всегда молчала, всегда! Тебе п'гидется ответить!

Антон идет сквозь слои воды, шаг за шагом неминуемо надвигается на меня. Никаких звуков, только все прибавивший шум ливня. И нас больше нет. Может быть, никогда и не было? Я сейчас просто закрою глаза и вспомню.

Помню, как началась дикая гроза. Ливень стоял плотной стеной. Помню, что в какой-то момент Тишка схватил меня за руку и тащил за собой. Помню, как остановились внезапно. Лес кончился.

Странно, но за чертой леса светило солнце, стоял плотный июльский вечер. Что еще я помню?

Помню, как, не глядя друг на друга, дошли до железнодорожной станции. Я молчала. Помню, как ехали в пустом вагоне электрички. Помню свое ощущение от мокрой одежды и теплого солнышка, гревшего мне щеку через открытое окошко. Помню, что Тишка повторял одно и то же по кругу: «...отец требует отъезда в Америку, надо сдать финальные экзамены в духовной семинарии, надо принять решение, ты должна принять решение...» Он объяснял, что тянет с отъездом, что сопротивляется из-за меня и ради меня. Помню, что слышала все, как через вату. В голове стучало одно: «Скорее бы дома оказаться и все забыть».

Дальше я ничего не помню, кроме разговора с родителями на кухне. Они реагировали по-разному. Отец, друживший с Антоном, оказывается, все знал. Тишка с ним поделился планом признания. Папа не был на моей стороне. Мама о чем-то спрашивала меня.

— Она сп'гашивала тебя обо мне! Отвечай! — проклятый голос звенит в моей голове.

— Да... она спросила, дорог ли ты мне...

— Что, что ты ответила?

— Я молчала... Я хотела просто забыть и жить дальше... Я хотела проснуться в следующем дне... Я молча... — осекаюсь, дыхание перехватывает.

На меня надвигается призрак Антона. Я уговариваю себя, что сны не бывают вечными. Он обходит меня по периметру, в каждом углу остается его молчаливый двойник. Их восемь. Я мгновенно вспоминаю из текста тантрического ритуала умерщвления: «Четыре стороны света и их дробные деления». Это — восемь страж света. Господи, Антон запирает меня навсегда в своей мандале безумия, в своем круге вины и позора.

— Молчала? — рычат эти восемь, взяв меня в круг.

— Почему ты все в'гемя молчишь? Сколько ,газ мы пытались тебя ,гасто'гмошить? Мы звонили тебе, помнишь? Мы молили тебя о любви! Ты смеялась над нами, ,гасказывала нам п'го санса'гу! Измывалась, сте'гва! Так?! — на меня надвигаются их страшные тени.

От ужаса я закрываю глаза. Я ищу этот сюжет в каталоге моей длинной жизни. Точно, точно, да. Зимой на кухне, рядом с ледяным окном. Стена бетонной многоэтажки промерзла. Я сижу за текстом, пишу. Иногда смотрю в окно. Там пустырь, занесенный снегом. Белая пустыня и метель. Красиво и холодно. Смотрю не отрываясь, долго-

долго. Звенит телефон. Без единой мысли снимаю трубку. Вслушиваюсь и не могу понять, кто там и что хочет. Это был ты, думавший, что двенадцать лет спустя я тебя узнаю. Да, ты плел какую-то ахинею о вечной любви. Мне казалось, что ты просто пьян. Да, я стала зачитывать тебе куски своего текста, который писала. А потом, а потом я увидела его, идущего в красно-шафрановых одеяниях сквозь метель. Я сказала тебе, что он все-таки нашел свою Шамбалу! Что потом? Не знаю. Я очень долго смотрела, как фигурка в шафрановых одеяниях пробивает свой путь сквозь метель. Потом остались только белый свет и вопрос: зачем он вернулся из Шамбалы? Потом стемнело. В руке — телефонная трубка с короткими гудками. Антон, я просто повесила трубку и стала опять думать о сансаре.

— Ты навсегда-навсегда-навсегда заперта-а-а, ты навсегда-а-а-а с нами, с нами, с нами... — восемь страшных гигантских фигур тянут ко мне свои руки.

— Антон, зачем? — кричу, пытаюсь увернуться.

Они отвечают зловещим хором заунывных голосов:

— Ты виновата, твоя вина, вина, вина, ты виновна, виновна, твоя вина, вина, вина, это твоя вина, твоя вина, твоя вина, ты кругом-кругом виновата, твоя вина, виновна, виновна...

Я закрываю уши руками. Начинается дикое головокружение. Меня затягивает в воронку чудовищный хор голосов:

— Ты виновата, твоя вина, вина, вина, вина, вина, виновна, виновна, она виновна, она виновна, кругом-кругом виновата, твоя вина, виновна, виновна...

Поднимаю голову, гигантский Антон смотрит на меня почти что с небес:

— Ты навсегда здесь! Здесь твой дом, твой дом вины!

Звук доходит до пределов и обрывается. Мертвая пустая тишина. Я слышу свой голос:

— Антон, я могу говорить! Антон, нет, понимаешь, нет никакой вины. Есть ошибка. Антон, ты слишком поверил всему, что любил... Антон, слышишь, только там, в том пространстве есть круг вины и позора. Я знаю другое... Ты просто поверил в это... Антон, в Улан-Баторе есть кинотеатр «Сансара»... Понимаешь? Ну, конечно, это трудно понять. В центре города стоит кинотеатр «Сансара», куда ходят смотреть на жизнь. Как назвал европеец свой кинотеатр? Назвал «Круг вины» и ходил в него всю жизнь лицезреть вину и позор. Вечная, вездесущая вина! Вина как мистическое, проклятое место. Вина — неотвратимо желанное место! Место, которого нет! Антон, нет никакой вины! Ни твоей, ни моей! Ее вообще нет!.. Трудно признать, что люди оказываются не синхронны, трагически не синхронны... и нет в этом ни вины, ни позора...

— Женщина, женщина! Что вы молчите? Мы приехали!

Открываю глаза. Я в такси. Передо мной удивленное лицо водителя. Расплачиваюсь, открываю дверцу машины и делаю шаг отсюда и навсегда.

Прощай, прощай, Антон.